

- **ЛИВАН ИЛИ ШВЕЙЦАРИЯ?** – Нэлли Гутина
об альтернативах израильской демократии
- **ЕВРЕЙСТВО КАК ЦИВИЛИЗАЦИЯ – ИЗРАИЛЬ
И ДИАСПОРА** – в эссе Михаила Членова
- **БИБЛЕЙСКИЕ ПРОРОКИ**
в интерпретации современных поэтов
- **„ВНОВЬ Я ПОСЕТИЛ...“** –
петербургская проза Александра Мелихова

22

МИЛАНДЖУРЕНИ
МОСКВА

114

≡

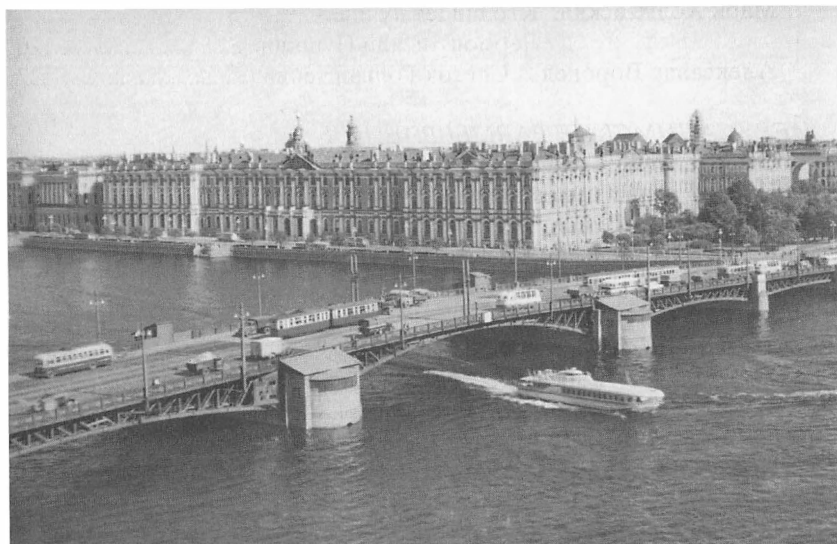
№ 114

≡



**ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ И ЛИТЕРАТУРНЫЙ
ЖУРНАЛ ЕВРЕЙСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ ИЗ СНГ В ИЗРАИЛЕ**

ДВАДЦАТЬ ДВА



114

**ЖУРНАЛ ВЫХОДИТ ПРИ СОДЕЙСТВИИ МИНИСТЕРСТВА АБСОРБЦИИ
И ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ**

1999

СОДЕРЖАНИЕ

ЛИТЕРАТУРА

Александр Мелихов. Вновь я посетил... ..	3
Геннадий Беззубов. Стихи	79
Денис Соболев. Кофе у Шхемских ворот	82
Яков Шехтер. Мэтр и Большая Берта	85
Гавриил Левинсон. Носы марсиан	116

ЛИТЕРАТУРНАЯ РЕФЛЕКСИЯ

Марк Холмянский. Кто пишет лучше – Лермонтов или Пушкин	120
Александр Воронель. Список Гольдштейна	127

ИЕРУСАЛИМСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

От редакции.	139
Нэлли Гутина. Тенденции	141
Илья Донат. Виват, демократия!	153
Калман Кацнельсон. Государство Израиль и принцип Ростовцева	158

САМОИЗУЧЕНИЕ

М.А. Членов. Еврейство в системе цивилизаций	163
--	-----

СООТЕЧЕСТВЕННИКИ В ГЕРМАНИИ

Иосиф Погорельский. Дороги, которые нас выбирают	185
--	-----

ИНТЕРПРЕТАЦИИ

Владимир Саршвили. Иона (поэма)	198
Наум Басовский. Пророк (поэма)	204

ОТКЛИКИ

Анатолий Добрович. «Проникнуть в тайну повествования» ..	216
Михаил Копелиович. Поэма в прозе Дины Рубиной	220

На первой странице:

Санкт-Петербург. Вид на Дворцовую набережную.

На последней странице обложки:

Голанские высоты. Водопад Баннас.

ЛИТЕРАТУРА

Александр Мелихов

ВНОВЬ Я ПОСЕТИЛ...

1

Я давно уже выплюнул и растер детские мечты о творчестве и ученом братстве. Но палец, поманивший из канувшего, все же взболтнул во мне давным-давно осевшую муть, которую психиатры именуют бредом значения (посещающим меня сегодня лишь под очень сильной балдой): все, как в юности, снова сделалось захватывающим и словно бы усиленно подмигивающим на что-то. Правда, у метро тогда не раздавали листовки „Собаководство - это судьба“ и „Встреча с духовным учителем“ - борода, тяжелый недоверчивый взгляд. Напоследок сунули еще что-то православное - крест весь в перекладинках. Зато озабоченный Кутузов по-прежнему утопал в банных складках перед величественным порталом Казанской колоннады („Архитектор Ворончихин“, как наставлял меня в тупору один интеллеktуал), обрывающейся в гранитную Канаву, куда немедленно вплыла из Леты исполинская, с пятачками в исчезнувший ныне пятачок вялая пиявка, на которую я, ошалевший от прикосновенности к великому пацан, тарасился тоже не без благоговения.

Пот, пот - за этой недвижно налегшей на город жарой явно ощущалась чья-то издевательская воля, - я так и не возвысился до верховной научной мудрости: естественно все, что есть.

А медный Кунктатор, пересидевший Наполеона, и нас не моргнувши глазом перестоял: его два раза покрасили - а нам уж и на погост пора - хватит, погостили. Когда я вспоминаю, что мне уже

пятьдесят, я съезживаюсь в зачуханного „шлемазла“, неудачника, ибо в моем нынешнем мире не существует свершений, достойных этой цифры. Я начинаю перечислять себе, что я доктор, профессор, главный теоретик лакотряпочной отрасли (юбилейная телеграмма пришла за подписью министра: „расцвете творческих сил“, „так дрежать“), но мне все равно становится стыдно проявлять какую-то оживленность, любезничать с женщинами – быть разбитым дребезжащим старцем все-таки было бы не так совестно. А я, как нарочно, большой бодрячок, меня страшно изматывает необходимость постоянно держать себя в узде мрачноватой невозмутимости.

А, это здесь раскидывалось уличное кафе, где я заказал шесть бутербродов с ветчиной – высчитал, что так выйдет самая дешевая удельная калория, официантка думала, что шучу – после освоения очередного квадрата божественного ЛЕНИНГРАДА (три часа вдоль какой-то бетонной стены). А вот в этой тысячу раз с тех пор пересошей и возобновленной луже сидел, забравшись по шейку, рехнувшийся голубь, а через одноразовую оградку кафе перебирался морячок с лицом, казавшимся ему игривым, но оказавшимся идиотическим: две очень городские девушки сдержанно приснули, пробуждая во мне бездонное сострадание к бедняге. А за этим строительным забором укрылись подвалы ресторана „Кавказский“, куда, если удавалось разжиться лишней десяткой, мы ходили, отстояв часовую возбужденную очередь, вкусить восточной роскоши и неги.

Что за мускулистые подушечки лаваша там подавали – даже распаханные по карманам они и назавтра не осыпались и пружинили на зубах. Купаты змеями обвивали сталь шампуров, словно эскулапов посох, две-три реплики с соседями по столикам, вспрыснутые двумя-тремя бокалами „Гурджаани“ и „Саперави“, мгновенно распускались роскошными мужскими дружбами. В этом вальсирующем движении из зальчика в зальчик Славка сквозь пронзительное зудение зурны прокричал что-то радостное симпатичному крючконосому мужику, интимно склонившемуся к своему лишенному внешности верному другу, мужик тоже прокричал что-то дружелюбное – ну и мне, естественно, захотелось направить на него одну из струй распиравшего меня чувства, казавшегося все-

охватной любовью к миру, но оказавшегося всего лишь мастурбационным самоуслаждением этой любовью. Короче, я мимоходом бросил ему какую-то дружескую шутку, и он ответил мне еще более задушевно: слушай, отъ...сь от меня к такой-то матери. Я расхохотался, словно услышал что-то очень забавное, и, единым взмахом стерши услышанное из памяти, поспешил за Славкой. Проглотить оскорбление - сегодня, когда я считаю делом чести не самоудовлетворяться, а думать о результате, оскорбить меня практически невозможно. А вот заглушить голос правды ради сохранения приятной картины мира, - теперь для меня это едва ли не тягчайшее преступление.

Адмиралтейская игла поблескивала сквозь прозрачное одеяние строительных лесов. К Коноплянникову было еще рановато, и я присел в Сашкином садике рядом с типичной старой ленинградкой. Фирма IBM готовила для интернета седьмое поколение компьютеров - эта газетная сенсация поглощала старушку с головой. Напротив, через аллею, багровый провинциал глотал из горлышка пиво, пополняя бегущие с него потоки пота. Когда он поставил пустую бутылку на землю и взялся за следующую, старушка без грации просеменила к нему, с полупоклоном подхватила бутылку (в кошелке звякнуло) и вновь погрузилась в интернет. Подошла другая типичная ленинградка, тоже в детской панамке: да, с пятьдесят второго, нет - пятого года такой жары не было, что вы хотите - теперь же никто ни за что не отвечает, но Алевтина Николаевна, куда же вы, простите, смотрите, вы видите, что он делает - взял и пошел! Нет, но какие пошли бесцеремонные невоспитанные люди, раньше такое представить было немислимо - чтобы ни у кого не спрашивая... смотрите, смотрите, еще одну схватил, еще!..

Бомжистый мужичонка с котомкой через плечо бодро, как грибок, перебежал от скамейки к скамейке, время от времени подхватывая пустые бутылки, заглядывая в урны, словно в собственный почтовый ящик. Я не почувствовал ни сожаленья, ни печали - что ж, значит такая теперь пошла жизнь. А эти бедняжки все имитируют жеманством интеллигентность, и пафос этого спектакля неизменный: только воспитанные люди имеют право следовать собственным интересам. Фальшь, презрение к истине - единствен-

ное, что сегодня может меня задеть: лишь этот чекан эдемской юности с каждым годом врезается все глубже и глубже. Даже эти дурацкие листовки я не в силах скомкать, не проглядев. А уж в доводы врага следует вдумываться куда тщательнее, чем в доводы друга. Когда-то я считал науку органом познания. Но теперь я вижу в ней орган честности. Она обязана фиксировать каждый голос сомнения, особенно неприятного, она никогда не смеет сказать: „Я знаю“ - только „Я предполагаю“. Поэтому она всегда перед всеми виновата - виновата, что недослушала болтуна, отмахнулась от стотысячной лжи мошенника, бред сумасшедшего сочла бредом, а не альтернативной гипотезой, невежду отстранила от слушаний, покуда он не сдаст за восьмой класс... Собственно, она вообще не вправе выносить приговоры - „болтун“, „сумасшедший“, „невежда“, ее дело только накапливать сведения, ни от одного не отмахиваясь. Но в мире, где каждый вооружен зубами железной уверенности, остаться при голом сомнении - скорее алгебраист Миша Элиасберг в свитерке тридцать восьмого размера и очках минус тридцать восемь выстоит в пресс-хате среди рецидивистов с заточками. Да вот хотя бы припирает к стене взглядом с листовки бородатей самого Карла Маркса духовный учитель, врач, ученый, писатель Сергей Федорович Петров, замалчиваемый официальной наукой за то, что исцеляет все болезни и насыщает космической энергией. Против этих бородатых пророков, без страха и сомненья пускающихся на самое недопустимое - апелляцию к толпе, хоть чуточку действенны только другие запрещенные же приемы - апелляция к чинам, званиям, авторитетам, к „давно известному“ и „точно установленному“: эти волки заставят-таки всех выть по-ихнему...

Но я не позволяю себе впасть в негодование против законов бытия - никто же не возмущается, что осенью идет дождь. Даже неотвратимость смерти никого не возмущает - только прячутся кто в забвение, кто в утешительные сказочки. Но смотреть в лицо самой ужасной правде, мириться с неизбежным - сегодня единственный для меня вопрос чести. Вот только с этой идиотской жарой, разъедающей неиссякающим потом все самое сокровенное, я никак не могу примириться - не могу поверить, что и у нее есть какая-то неустранимая причина.

Произнести слово, не измусолив трех монографий, кого-то не дослушать, чего-то не дочитать – все это вызывает у меня чувство совершенной гадости. Но общаясь с людьми, свободными от пут добросовестности, не совершать подобные гадости невозможно – поэтому я стараюсь избегать людей. А когда не удается, чувствую себя пакостником. И свидетелем чужих пакостей. Господа, обожающие настаивать на своем, гордящиеся независимостью своих мнений, для меня гораздо отвратительней удивительных личностей, обожающих красть у друзей и гадить на видном месте. Вступая в спор, большинство людей стараются не узнать что-то, а защититься от знания – чтобы не только ни в чем не переменить мнение, но даже не услышать: перекричать, обругать, заткнуть глот... Несомненности жаждут они, а не истины.

Стоп, не заводись, не позорься – таков мир. Чем расчесывать болячки (отрицательная мастурбация), достойнее будет хотя бы поинтересоваться, чем недовольны еще и собачники. „В последнее время обострилась политическая борьба в высших сферах собаководства... Простые собаководы в растерянности... Утрачен контроль за вязкой... Плоды племенной работы многих поколений...“ Все везде рассыпается в пыль, когда каждый становится сам себе высшим судьей. Личность осознала свои права, еще не сделавшись личностью, ее начали защищать прежде, чем она доказала, что стоит защиты: гуманисты, дабы не отвлекать энергию от освещения частных квартир, принялись разрушать электростанции. Человек высшая драгоценность уже за одно то, что умеет жевать и сморкаться! Все должно служить человеку, и только он ничему не должен служить, и он это быстро наматывает на ус: любое усилие ради другого превращается для него в непосильную обузу. Казалось бы, любовь – это такой кайф. Но – риск неудачи, столько хлопот, чтобы завоевать, а завоеешь, так тут же ответственность: ты должен стать кормильцем, защитником... Нет уж, спокойнее перейти от любви к сексу. Но ведь и там нужно хоть на полчаса ублажить другого – займемся лучше мастурбацией. А самые передовые уже дотумкали, что и мастурбация все-таки труд, а значит обуза: еще проще сделать укол – и иметь полный кайф сразу и без хлопот.

Спокойно, спокойно – нужно только увериться, что мастурбаци-

онные тенденции нашей культуры неотвратимы как смерть, и тогда я немедленно заставляю себя смириться: мастурбируйте на здоровье, стимулируйте собственное самочувствие, если уж дело вас больше не цепляет. Эта мегатонная сосулища нарастала веками: скажи древнему греку, римлянину, галлу, арабу, что он обязан служить не семье, не роду, не Богу, не государству, а себе лишь самому... В былые времена боевые песни слагали и горланили не для того, чтобы раздухариться и разойтись: их пели, чтобы воевать - ни о каком искусстве для искусства никто не мог и помыслить, все гимны и хороводы чему-нибудь да служили: богам, плодородию, свадьбам, похоронам... Но вот культура объявила себя своей собственной целью, ценности деяния были пережеваны и выплюнуты ценностями переживания - так истощившийся распутник, уже не способный на страсть к реальной женщине, начинает задрочиваться до смерти: долгий дрейф от эпоса к лирике сегодня завершается стремительным спуртом от индивидуализма к героину. Солипсизм как высшая стадия эгоизма: от „Существенны только мои интересы“ к „Существую только я“. Уход во внутренний мир - это же так поэтично, ведь такие несметные сокровища нас там поджидают: кишки, бредни, радости блаженного дебила... Алкаш, торчок, шизофреник - окончательное торжество духа над материей, мира внутреннего над вульгарным внешним. Что общего у наркомана с романтическим лириком? И тот, и другой считают высшей ценностью переживания, а не презренную пользу.

Прекрати же, наконец, мастурбировать и сам - растравлять ссадины, когда не в силах ничего изменить. Дух терпимости первыми удушает тех, кто имеет глупость дорожить чем-то еще, кроме собственной шкуры - „индивидуальности“. Да, вот вам, пожалуйста - уже и Православная Церковь у метро обличает какую-то кощунственную секту, возглавляемую евреем Береславским, - ну, это спор славян между собою. И все-таки не могу не дочитать: Береславскому является некая бесформенная масса - рыдающее сердце Богородицы, испускающее жуткий вой, и с бешеной скоростью диктует прямо на машинку... Свобода индивидуального бреда всюду грозит растрепать бред коллективный - единственное, что может всерьез и надолго объединять человеческую массу.

Жизнь и добросовестность - непримиримые враги. Абсолютно

добросовестный человек абсолютно нежизнеспособен: чтобы себе не подсуживать, он должен подсуживать врагу. А я подсуживаю сразу. Всеобщее мастурбирование утешительными сказочками внушает мне такое отвращение, что из двух равновероятных суждений я стараюсь выбирать более неприятное. Когда Катька (фу, как фальшиво звучит ее навязанное общежитской традицией имя, - но „Катя“, „жена“, „супруга“ еще фальшивее), так вот, когда она сетует, что наш сын „выпивает“, я прихожу в сосредоточенное бешенство: он пьет, пьет, пьет... Я к вам не лезу со своими мнениями, но и вы увливайтесь без меня, я заранее отказываюсь от всех обезболивающих, срываю все припарки с умягчающими снадобьями, я не стану приставлять обратно ампутированную ногу и делать вид, что она все еще живая: мои дети - чужие и неприятные люди.

Я готов снисходить ко всем, кроме собственных детей, укоряет меня Катька, и она совершенно права. Они это я, а снисходить к себе - ради мастурбации, не ради дела - слишком уж противно. Честности меня научили в двух моих школах: великий Москва, посвечивая фиксами с дальнего дивана - затемненного наблюдательного пункта всех разборок при фойе ДК „Горняк“, скупым царственным жестом немедленно подзывал понтаря, угрожающе сунувшего руку в карман: „Чего там у тебя, дрочишь что ли? Сунул руку - доставай! Достал - пори! Дай сюда пику“, - кончиками пальцев он перебрасывал заточку за приземистый диван, кряхтя приподымался и, неловко дотянувшись, словно муху смахивая, хлопал дешевку по малиновой щеке свернутой газетой, всегда зачем-то торчавшей у него из кармана. Если же и заточки не оказывалось, он уже не ленился встать и хлестал долго и всесторонне, а затем, словно брезгуя даже ею, выбрасывал уже и самое газету. И впоследствии, когда на занятом ученом докладе кто-нибудь выразительно помалкивал, иронически усмехаясь, мне всегда страшно не хватало Москвы с газетой: „Чего разлыбился? Дрочишь что ли? На понтах в крутняки промылиться хочешь? Доставай, чего там у тебя?..“ Наука тоже беспощадно раздевала до полной микроскопичности самоупоенных мальчиков, которые не могли предъявить ничего, кроме поз, ухмылок и происхождения. Отличнику двух великих школ, мне совестно даже просто повесить голос,

прибавить пафосу, а эффектный жест представляется мне совсем уж тошнотворным шулерством: не можешь зарезать - приткнись. И не ловите меня на моей псевдочеховской бородке с асимметричной проседью, напоминающей потек изо рта, - бородка моя не знак внутренней фальши, а честная маскировка: внешности классического интеллигента требует мой чин главного лакотряпочного теоретика. Природа же обнесла меня интеллигентными чертами: в школе, в общаге, отправляясь на танцульки, я примерял перед зеркалом разные обольстительные развороты - и каждый раз готов был трахнуть по отражению кулаком: ну барсук и барсук! Но грохот музыки разом отшибал у меня память - я отплясывал, понтился, сыпал остротами, покатывался со смеху, западал, обольщал, - и чувствовал себя несомненным красавцем. И что самое удивительное - другие, мне казалось, тоже ощущают меня блестящим и неотразимым. А потом, забегая в умывалку поплескаться в раскаленную рожу холодной водой, я мимоходом вскидывал глаза на зеркало - ну, что ты будешь делать - опять барсук!

Я еще тогда мог бы понять, сколь незначительную роль играет правда в человеческой жизни: красавец - не красавец, сумасшедший - не сумасшедший, - сумел создать нужный тебе коллективный бред - значит и прав. А кто ты „на самом деле“... Да есть ли оно, это „на самом деле“, которому я поклонялся в лучшие свои десятилетия? Или вера в истину - тоже коллективный бред? Но если он окончательно развеется, если вместо „он прав“ мы начнем говорить „ему так нравится“, исчезнет последний импульс для борьбы и сближения мнений - их сменит нагая борьба интересов, что, впрочем, не раз уже и случалось.

Нет, это не пот, это царская водка - хорошо еще, к Коноплянникову не требуется маскировочный галстук. Поклявшись после кандидатской защиты больше никогда не совать голову в эту удавку, я торжественно утопил „селедку“ в Неве, - но если сосредоточишься не на себе, а на деле, выдержать можно и не такое.

На троллейбусной остановке приплясывал отрезанный от мира черной мыльницей плеера с виду не такой уж придурковатый тинэйджер - современная техника предоставляет любые средства заняться в одиночку тем, что от начала времен предназначалось

для совместного употребления. Ничто не должно быть целью самому себе - ни человек, ни народ, ни любовь, ни искусство... И химия, и радиотехника наделяют простого человечка высокой привилегией, прежде доступной лишь сумасшедшим - чувствовать себя одним среди толпы. Погружение во внутренний мир, в дерьмо разной степени готовности.

Ну, апокалипсис - Нева дышит теплом! Башня кунсткамеры совершенно затушевана непроглядными строительными лесами. Любимая университетская линия испоганена беспросветно советским (беспредельно тривиальным) памятником Ломоносову. Приподняв пухлое лицо, Михайло Васильевич щурится через Неву на Медного всадника, словно передавая вызов одного ваятеля другому: пошляк не потупит взора перед гением! Зато спуск к Неве все тот же - подлинный, булыжный: по этой каменной кольчуге со своим оранжевым фанерным чемоданом, одурев от блеска, сини и Ниагары красот, я устремился к воде, а простукивавший мимо буксир осчастливил меня по колено настоящей невской волной!

Коля Пак, прибывший вместе со мной добиваться чести быть принятым в великое математическое братство, поднял меня на смех, но не надолго: в Гостином дворе истфака старенькая врачиха выписала мне направление в общежитие без промедления, а ему сперва перебрала пружинистый монгольский волос, да еще заглянула за шиворот. Хотя именно его папа-доцент - самый авторитетный математик в нашем городе - перестроил меня с модной физики на аристократическую математику: такой логики я еще не видел, втолковывал он моему окрыленному отцу, встретив его на улице после областной олимпиады.

А заверну-ка я в „Академичку“ - это будет, пожалуй, уже не расчесывание струпа, ампутированная половина жизни, похоже, начала оживать. „Нам нужно то, чего нет на свете“ - фантомные боли ампутированной религии: нет уж, я больше не искатель чего нет, мне нужна только реальность! Но пломба была уже сорвана, и тени ампутированных, весело гомоня, заполнили бесконечную столовку под чередой средневековых сводов, заскрежетали трубчатыми стульями, загремели подносами, Славка, восторженно выкатив голубые глазищи, повернул меня полюбоваться, с каким самозабвением Катька вчитывается в меню, взять ли ей туманного

киселя с курагой за шесть копеек или замахнуться аж на взбитые сливки за восемнад... Или двадцать две? Славка такие штуки помнил поразительно. Стипендия-то была двадцать восемь или тридцать пять в месяц?

Катьку мне отсюда почти не разглядеть сквозь ее сегодняшней образ - ядреную девку со струящимся золотым хвостом вдвое толще нынешнего, со свежей мордахой, тоже вдвое толще нынешней, мордахой чрезмерно распахнутой, а потому, на мой теперешний взгляд, несколько приглуповатой. Зато - вотужчего не замечал так не замечал залитыми счастьем глазами - бесконечно трогательной. Годы и горести - я уже постарался! - чрезвычайно ее облагородили. Сегодня я люблю любоваться ею, движениями ее рук, ее хвоста, ее души, полностью овладевающей ее лицом, стоит ей забыться в моем присутствии. К сожалению, теперь это бывает далеко не всегда - она уже боится любить меня без тормозов и без оглядки, и я приказываю себе мириться с этим: моя репутация обызвестковалась еще тогда, когда я не желал ампутировать в себе ни одного влеченьца.

Мишка, тоже румяный молокосос, воображающий себя страшно умным, с односторонней снисходительной улыбкой взрослого дяди через Каткино плечо также читает меню: „Духовная говядина“. - „Духовная пища - а сколько дерут!“ - радуюсь я. „Гарнир - пюре“, - „пюре“ Мишка произносит с французско-еврейским картавым раскатом. „Наверняка опечатка! - стараюсь не захлебнуться от переполняющего меня бессмысленного восторга. - Наверняка имеется в виду кюре!“ Мы счастливы и такому поводу покатиться со смеху, особенно мы с Катькой, но тут весь первый план заполняет исполинская фигура дяди Семы. Правда, дядю Сему образца сорок шестого года - юного, тощего, ковыляющего на костылях, с перезванивающимися медалями на линялой гимнастерке - мне не вообразить: он и там предстает барственно облезлым барсуком-бонвиваном со встряхивающимися при каждом выбросе чугунной ноги коньячно-румяными щечками. Жизнь давала им с моим отцом примерно одинаковые уроки, из которых они сделали прямо противоположные выводы: отцу открылась бренность всех мимолетных удовольствий - его брат понял, что лишь удовольствия и имеют цену. И сегодня отец выглядит облезлым подсохшим

барсуком, всю жизнь проведшим на охоте (на него), дядя Сема же похож на барсука облезлого и раскормленного, коего оригиналка-барыня всю жизнь продержала у себя в будуаре в роли любимой болонки, заказав ему специальный протезик вместо раздробленной лапки и даже отказавшись усыпить, когда его шибанул паралич.

Он и правда был неким любимцем - еврей, преподающий в Высшей партийной школе! Нынче дядя Сема с лиловой плешью, сияющей из кудряшек поседевшей болонки, ковыляет по номенклатурной квартире в парчовом халате - отец, из экономии остриженный под каторжника, семенит в двадцатилетней выдержки тренировочном костюмчике, коими снабжались преимущественно дети-сироты в казенных интернатах. Отхватив свою байковую курточку с начесом, отец был убежден, что страшно наколол госторговлю, ибо в точно такой же куртке Брежнев на даче принимал Луиса Корвалана. „Ну, сколько, ты думаешь, я отдал за эту тужурку?“ - торжествующе накинулся он на меня. „Восемь рублей“, - вглядевшись, оценил я. „Тебе мама сказала!..“ - „Ну, а на самом деле?“ - „Семь. Ну-ка, сколько стоит эта курточка?“ - перекинулся он на вошедшего брата. „Шесть рублей.“ - „Вы сговорились!“

Сегодня еврейский корень восторжествовал в нем окончательную победу: все, что еще может служить, должно храниться про запас, использовать можно исключительно то, что давно пора выбросить. Иногда, встречая отца на улице, я просто пугаюсь: бомж!.. Но уговаривать, стыдить его (я известный в городе человек, что скажут студенты, коллеги) совершенно бесполезно: довести его до слез, до инфаркта - это пожалуйста, но отречься от правды отцов его мог бы заставить разве что костер для мамы. Боже, как я ненавидел этот послед этого мертворождающего еврейского лона, где не могло завязаться ничто бесполезное - цветок, зверек, песня, драка... Теперь-то я понимаю, что только эта мертвенность - культ пользы и озабоченности - и хранит жизнь для всех гениальных мастурбаторов, - но дядя Сема так, похоже, и ощущает смертью этот фундамент жизни - долг, и лишь его загнивание считает чем-то живым.

Он придерживает отвисающую щеку с мертвой половиной рта и бесшабашно шепелявит, что кондратий дурак, отшиб ногу, кото-

рую и без него давно оторвало. Он любит выводить из себя приятеля, тоже фронтовика, рассказывая в его присутствии, что ногу ему по пьянке отрезало трамваем - зато на ботинках какая экономия! Через слово он матюгает Ленина, которым славно кормился лет сорок: если государство не простояло и восьмидесяти лет, значит не политик, а мудозвон. Помню мое изумление, когда на мои студенческие фрондерские разговорчики, он внезапно благородно посуровел: не обо всем можно шутить, есть Родина, есть Ленин - с чем-то и его забубенная решалка все-таки не осмелилась поссориться. „Ленин... - раскрепощенный анекдотами об Ильиче, фыркнул я. - Материализм и эмпириокретинизм...“ - „А ты всего Ленина читал?“ - торжествующе надвинулся дядя Сема, и я поник: я понял, что как честный человек я никогда не дослужусь до права судить о Ленине, ибо мне сроду не осилить пятьдесят пять томов этого бронированного однообразия, в котором скромная мысль, десятилетиями абсолютно не развиваясь, лишь обрастает все более устрашающей физической мощью. „Со Сталиным тоже все не так просто, - преподав урок молокососу, смягчился дядя Сема. - После смерти Ленина он оказался лучшим знатоком его трудов в тогдашнем Политбюро. Вот так-то. Ну ладно, учись, пока я жив. Знаешь, что такое: без рук, без ног на бабу - скок? Нет, не коромысло, инвалид Отечественной войны. Раз как-то в доме отдыха начали знакомиться - ну, кто директор, кто секретарь, а я говорю - а я гинеколог. Один просит: слушай, посмотри мою жену. „Пожалуйста“. Приходим в номер, баба спелая, я ей говорю: вы лягте как-нибудь поудобнее. И ноги повыше“...

Разговор течет в Летнем саду под „Карданахи“. Мы пьем из украденного в киоске газводы граненого стакана. Дядя Сема и здесь не обошелся без архитектурных излишеств: когда продавщица отвернулась, он быстро сунул чистый стакан под прилавок и тут же - провинциально-начальственный, в сетчатой шляпе - протянул ей стакан обратно: налейте мне, пожалуйста, в мой, я из чужих не пью. Выпил, попросил вымыть, завернуть...

- Другого места не могли найти? - мимоходом бросает нам строгий плюгавец, и дядя Сема мигом наливается контуженной синью: - Иди сюда, я тебе сейчас башку проломлю! - он потрясает роскошно инкрустированной палкой - дар высших партийных уче-

ников, и я знаю, что он слов на ветер не бросает - сам бывал свидетелем. И партнером по обсуждениям: „Я кровью мешками проливал!“ - дядя Сема первым был готов потешаться над драмой, когда она миновала. Только одну нашу совместную вечеринку у него в гостях мы стараемся не вспоминать. Это святое. Вроде Ленина.

Я в десятом классе, третья дядисемина жена в командировке. Он посвящает меня в тайны марочных коньяков и твердокопченых колбас из спецраспределителя (у нас-то в ДК „Горняк“ и „Московская“ под кильку вместо „сучка“ под рукав считалась баловством). Байки сыпались одна другой забористой - я тоже ухитрился поспевать, ибо в ту пору еще умел наслаждаться собственной ложью, тем более в пьяном чаду, чья сласть и заключается в притуплении совести. Появлялись и исчезали какие-то плешивые друзья, возникла какая-то старуха (помоложе меня сегодняшнего), которую дядя Сема в ошеломляюще прямолинейных выражениях предложил мне оттарабанить, отчего я в ужасе замотал головой и только что не зажался двумя руками сразу - к их обоюдному веселью. Когда бабка рассеялась в воздухе, дядя Сема извлек несколько засаленных порножурналов: „Швеция! Не разберешь, кто кого!“ - и стремительно повлек меня по трехслойным живым пирогам, задерживаясь лишь на крупных планах:

- Воротник малость облез, а так песец что надо!

Или „писец“? Вдруг дядя Сема, радостно сверкая золотыми зубами, навалился на меня с игривыми щипками: „А ты на что дронишь? Не ...зди, все дронят. А ты не пробовал дронить наперекрест? Ты что, намного лучше, мы в ремеслухе все задрачивались до усрачки, давай научу, давай-давай, не пожалеешь!“

В оправдание растлителя должен сознаться, что я не проявил достаточной твердости - в сопротивлении, ибо он вскричал с восхищенным кавказским акцентом: „Х... желэзо, пока горячий!“ Его небольшенького, но задиристого петушка я своей робкой дланью еле разыскал между осевшим брюхом и потрескавшимися ремнями деревянной ноги. Дело не удалось довести до конца - я едва донес до унитаза мощный порыв изысканной рвоты. Дядя Сема приговаривал надо мной одобрительно: „От души поблевать - никакой е...ли не надо“, а когда я утер губы и заплаканное

лицо впервые увиденной туалетной бумагой, он с хохотом показал мне фронттовую выбоину на светловолосой ягодице: „Сразу видно, куда наступал. Ты заметил? - как раз дуля вкладывается. Нет, ты вложи, вложи!“

Выбоина и впрямь представляла собой идеальный футляр для кукиша.

Разъедаемый потом, я очнулся в Таможенном переулке (в правой руке еще гадко пружинило). Перед „Академичкой“, разложив шкиперскую бороду по широкой груди, приосанивался ражий швейцар. „Старая таможня. Найт клаб“, - прочел я электрическую вывеску. За стеклянной дверью под темными бесконечными сводами, будто на новогодней елке, перемигивались разноцветные огни - мне не удалось разглядеть столик, за которым Катька, мечтательно вглядываясь в свой внутренний мир, пресерьезнейше перечисляла: „Больше всего я люблю молочный суп с лапшой, потом с рисом“ ... - „Так-так, - услужливо подхватил я, изображая восхищенного репортера, делающего лихорадочные записи в невидимом блокноте, - значит, на втором месте у вас молочный суп с рисом...“

Даже сегодня, когда Катька, забывшись, пускается в повествование о какой-нибудь чепухе, я останавливаю ее озабоченной просьбой:

- Подожди, подожди, ты же еще не рассказала, какой молочный суп у тебя идет после рисового.

- Мерзкий тип, - безнадежно вздыхает Катька.

- Но почему?.. - возмущаюсь я, и она резюмирует еще безнадёжней: - Мерзкий.

И снова всех оттесняет невообразимо юный дядя Сема, полуголодный на продуктовых карточках, ковыляющий на ободранных костылях по бесконечной „Академичке“, по которой снуют официантки - последний пережиток царизма. После серых макарон с призрачным сыром дядя Сема присел передохнуть как раз за тем столиком, на который официантка только что поставила поднос с десятком припорошенных сырыми опилками порций.

- Ты чего сидишь? - пробегая поинтересовался такой же поджарый приятель.

- Да вот к концу месяца отоварил все карточки, а съесть не могу.

- Так давай я доем?..

- Давай.

С удобной позиции у двери дядя Сема наслаждался зрелищем с полным комфортом: вот бежит официантка, вот приятель, загораживаясь локтями и отругиваясь через плечо, удваивает темп работы сальной дюралевой вилкой, вот они пытаются вырвать поднос друг у друга... Кстати сказать, за хищение соцсобственности в ту героическую пору по закону „семь восьмых“ давали срок независимо от размера хищения.

- Он месяц потом со мной не разговаривал, - самодовольно завершал дядя Сема.

Разумеется, Коноплянников вовсе не звал меня на работу - этот дурак Лапин все переврал. Но, разумеется же, при малейшей возможности... Коноплянников был смущен, угощал меня коньяком, я заверял его, что все у меня великолепно - авторитет, деньги, квартира, заграникомандировки: я победил, а вас с вашим университетом ампутирую прямо за дверь. Только кабинет его немного достал до живого: здесь нам со Славкой когда-то выдавали подъемные в сверхатомный Арзамас-16 - и вдруг мне отказали, хотя Славка, в отличие от меня, еврей был полный. Я и в Арзамас-то этот ехал через силу - всем казалось, меня ждет аспирантура, - но вот когда без объяснения причин я очутился ни там, ни там...

Вульгарный мясистый „ренессанс“ столовой „восьмерка“ снова дернул меня за вонзившийся крючок „Славка“, отозвавшийся предостерегающими звонками, манящими огоньками по всей петле: „восьмерка“ - аппендицит - профилакторий - опять „восьмерка“... И каждый сигнальный колокольчик, каждый маячок, зовущий в толщу Леты, был еще и матрешкой, из которой я мог бы извлекать одну картину за другой. Вот по темному коридорчику над пытошными сводами матмеховского гардероба гордо удаляется наша Джина Лоллобриджида - доцент кафедры дифуров (дифференциальных уравнений) Людмила Яковлевна Андреева, которую многочисленные снобы без малейшего с ее стороны повода развязно именуют Люсей, - роскошный изумрудный отлив ее синего костю-

ма, коим могут гордиться также высохшие чернила и басистые мухи, лишь угадывается в полумраке, подобно зелени ночной ели, зато алое платье, в котором она принимала у меня вступительный экзамен, сквозь все наслоения просвечивает праздничным пионерским галстуком – я до такой степени обомлел от ее сверхчеловеческой красоты, что перепутал арксинус с арккосинусом, – тем не менее, она уже с той пятерки запомнила мою легкокрылую смекалку, а этот пустячок в нашем Эдемском саду разом смазывал все должностные и возрастные грани: может, и не зря в ее надменном кивке мне всегда мерещилось зернышко женского интереса, может, и напрасно я завидовал Славке, балагурившему с ней на семинарах, будто парубок у плетня, в то время как мои куда более отточенные реплики она – при явной симпатии – встречала не прелестным смехом, от которого слегка обрывалось в груди, а некоей выжидательной настороженностью: уж не вообразил ли я чего? Вот она начинает записывать „e^x“ вместо числителя в знаменатель. Аудитория радостно протестует, а она вместо икса в показателе дописывает минус икс и на мгновение показывает нам язык. У меня по телу пробегает непонятная счастливая щекотка, а она уже сердится (преувеличенно, как это свойственно добрым и смешливым людям), хмурит свои соболиные брови: „Что такое – одна половина группы на матлогике, другая неизвестно где...“ – „А третья половина присутствует здесь“, – галантно завершает Славка, и она снова с удовольствием меняет гнев на смех.

Но в предыдущей картине Славке еще не до шуток: придерживая локтем живот, он кособоко поспешает за „Люсей“ с зачеткой, а мы – друзья! – подбадриваем его развеселыми выкриками, ставя на Люсю три против одного, пять против одного...

Славка исчезает за поворотом на недельку-другую, и мы – друзья! – изоощряемся в версиях одна уморительнее другой, покада не выясняется, что он залег с аппендицитом. Бессердечие? Ничуть: просто с нами ничего не могло случиться. Когда Славка – как будто минут через десять – возник снова, он и сам похвалялся не глянцевым рубцом, а своей находчивостью: когда медсестричка удаляла ему с паха постороннюю кучерявость, его красавец выпрямился во весь рост, а Славка якобы извинился вычурно и неоднозначно: „Против природы не восстанешь“.

Для полноты реабилитации Славке дали путевку в профилакторий с видом на Зимний дворец и кормежкой в крахмальном профессорском уголке, отгороженном ширмочками от плещущего щами и гуляшами оглушительного пластикового зала „восьмерки“ - из этого уголка навстречу нам со Славкой протрусил однажды пухлый седоусый академик Фок с золотой звездой на лацкане и телесным натеком слухового аппарата на ухе. Я обомлел, а Славка с радостным азартом вытаращил голубые глазищи и, близко придвинувшись лицом добродушно оглаженного от острых граней ястреба (нежно скругленные рудименты крыльев заняли место ушей), заговорщицки потребовал подтверждения: „Видно, что он скоро умрет, да?..“

Как всякой парадоксальности, я и этой Славкиной манере в ту пору пытался подражать. Даже после двух лет в сверхатомном Арзамасе-16, уже хватив невидимых рентгенов подлинной жизни, Славка все так же любил говорить об ужасном, как о нестрашно интересном.

Я снова очнулся у „восьмерки“, немедленно отозвавшейся новой цепочкой: Славка - профилакторий - горбоносый болгарин, разъевшийся на профилакторской сметане (у Славки у самого по-бабьи попышнели плечи), провисающий на койке в непривычных еще треугольных трусиках. „Жалуетса, что наши девушки не умеют отдаваться“, - бедово шепнул мне Славка, и я целый час разрывался между мурлычущим желанием выказать гостю максимум дружелюбия и мучительным зудом затеять с наглецом ссору. Живот жирный. не накачанный - один точный удар...

Смахивая с лысины пригоршню пота, я вновь ощутил все то же страстное желание хорошенько врезать по этому вырожденческому рубильнику (хотя болгар к нам на выучку отбирали чуть ли не по красоте - то парикмахерской, то интеллигентно-хрупкой) - да, за этим идиотом-мастурбатором (за мной) все еще требуется глаз да глаз, иначе он тут же предается подростковому блюду. Во искупление проделаем упражнение для новичков: дать волю мастурбационному дну, а чуть оно разинет пасть - бац! - сунуть туда воспитательный кукиш. Я резко снизил давление целесообразности (она же ответственность), и невменяемое ядрышко моей души, стиснутое в сверхплотную горошину, в доли секунды расши-

рилось до размеров планетария, заменяющего мастурбаторам реальный космос.

Мы с Катькой и Славкой чуть не вприпрыжку спешили поперед бабки в пекло от исколупанных, но страшно египетских сфинксов у Академии художеств к родным Двенадцати коллегиям, никак не в силах наконец наговориться и нахотаться, перескакивая с патетического на дураческое. „Хорошее слово - чертёчо“, - радостно тарасился Славка, и мы помирали со смеху: чертёчо, чертёчо, чертёчо... А еще он в детстве думал, что это одно слово „цветлицá“. Каково - цветлицá! А я думал, что есть слово „кустраки“: кустраки, ты над рекой. „Вы любите со словами играть!“ - радостно определяет Катька еще одну нашу совместную черту: наконец-то у нее появились такие умные и веселые мальчишки, она извелась в своем Заозерье быть вечно умнее всех. Мы пока только дружим, а потому вполне счастливы друг с другом, любовь еще не пришла, чтобы все... Некстати вспомнился Славкин анекдот: два француза поставили на стол голую девку, воткнули в известное место бутылку из-под мартеля и только расположились насладиться зрелищем, как один из них выглянул в окно и махнул рукой: ну вот, сейчас придет Жан и все ополит.

Жан еще не явился открыто, все вокруг сверкает синью, золотом, малахитом, и все-таки Нева с ее кораблями, и Академия с ее художествами, и Исаакий с его солнцем в куполе, и Университет с его науками были только дивными декорациями главного спектакля - нашей жизни. Мы вечно будем шагать и смеяться среди наук, художеств, красот и кораблей, на которых я когда-нибудь еще не раз пересеку экватор и полярный круг, попутно совершая открытие за открытием к восхищению терпеливо ждущей меня на далеком берегу... Она была бы Катькой, если бы этот туманный образ допускал хоть какое-то конкретное воплощение: любовь действительно неземная страсть - она не терпит для себя никаких реальных границ.

И мой исследовательский пыл был таким же неземным. Избранная мною профессия представлялась мне лишь входом во что-то неизмеримо более грандиозное, где от математики мне потребуется только ее точность (она же честность). Но ведь существовать означает иметь границы, только ограничения и наделяют нас целя-

ми. А наша тяга к безграничному обесцеливает жизнь, как организм истощает неумеренная мастурбация. Она тешит лишь нашу младенчески безответственную глубину, не желающую отличать явь от выдумки, если только она ошарашивает - не восторгом, так ужасом, заслоняя от нас ту грустную правду, сколь мало (ничего) мы значим для реального мира и сколь много (все) значит он для нас. Но отданное фантазии отнимается у реальности. Люди веками страдали от голода, холода, болезней - и что же нам оставили века? Амбары, больницы, отопительные системы? Нет - пирамиды, храмы! И если бы только фантомам отдавались лишь силы, ресурсы - нет, им отдается еще и благоговение, которого так не хватает нам самим!

Впрочем, прежние боги были, пожалуй, еще и поконкретнее любой реальности: наверно, они и на нее отбрасывали отблеск благоговения, они служили ответом на все вопросы, умирляли мысль, а не будоражили ее бесплодно, как это делает наша жажда безграничного - дыра, образовавшаяся на месте наполовину отсохшей, наполовину ампутированной религии. Пока мы не заделаем эту течь, не вдолбим себе наконец, что в мире нет ничего, кроме того, что в нем есть, - мы вечно будем чуждыми пришельцами невесть откуда в том единственно возможном мире, где и нам, и праправнукам нашим предстоит провести свои дни, мы всегда будем ощущать слишком тесным и недостойным нас любое реальное дело: так перешедший через край мастурбатор уже и не хочет смотреть на реальных женщин. Я сам ловлю себя на презрении к любому человеку, который смеет быть довольным работой, семьей, страной, конституцией и планетой... Нет, не к человеку - к мужчине. В женщине меня влечет именно уют земного. Может быть, Катька и оказалась слишком глубокой для меня...

Но пока неземное еще не успело уничтожить земное, любовь - дружбу, неопределенность мечты - определенность счастья, мы уже доскакали до ревущего стыка Съездовской линии с Университетской набережной, напоминающего критический поворот автотрека. „Почему собаки гончие, а машины гоночные?“ - прокричал Славка, и мы, радостно расхохотавшись, ринулись в мимолетный просвет среди ревущего, обезумевшего от удушли-

вого бензина автомобильного стада. Вылетев к бывшему Кадетскому корпусу, мы оглянулись на струхнувшую в последний миг Катю. Круглыми от ужаса глазами она метала молниеносные взгляды то влево, то вправо, и ее густого золота волосы, в ту пору ничуть меня не интересовавшие (в отличие от нынешних, изрядно поживших и регулярно подновляемых в борьбе со ржавчиной и обесцвечиванием - „полосатая, как бурундук“, грустно констатирует Катю перед зеркалом), тоже метались почти в противофазе. Потом ее закрыл автобус, а когда дым рассеялся, мы увидели уже только ее спину, улепetyвающую во все лопатки (голова была до упора втянута в плечи). Мы перегулянулись и покатались от любовно-снисходительного смеха (маньяки, маньяки - не люблю находиться рядом с молодежью, с этими полусумасшедшими; а вот поодиночке общаюсь с удовольствием - грустноватым, правда. И студенты меня любят. Особенно студентки).

Ого, вместе с Катюкиной спиной восстановилась из небытия и обтянувшая ее табачно-зеленая блузка (предостерегающе екнуло сердце, но я антимастурбационного урока не прервал). А за нею возродился и собственноручно пошитый Катюкой сверхпрочный синий костюм, в котором она, стоя на валуне среди ручья под сказочными елями, медленно-медленно кренилась вправо (мы, уже в Заозерье, решили посетить барачного вида опасный кинотеатришко), не сводя с меня этих же самых совершенно круглых глаз. Мы оцепенело смотрели друг на друга, пока она наконец со вкусом не уселась в ручей, как в ванну. Я все еще умел дружить только по-мужски, без подавания ручек: каждый сам должен видеть, куда ступает. „Ну вот“, - сказала Катюка снизу из ручья, и меня опять разобрал неудержимый смех. Смешно дураку, что нос на боку, любовно-снисходительно комментировала Катюка в подобных случаях, если только мой дурацкий смех не казался ей свидетельством, что я ее „не люблю“. Тот - еще не казался. И зря. А теперешнее подавание руки - кажется.

Сегодня ее круглые от ужаса глаза в ручье отзываются во мне такой душевной болью, что я немедленно отсекаю их непроницаемой переборкой: лучше поменьше предаваться раскаянию, жалости или умилению - словом, поменьше мастурбировать, а побольше делать для тех, кого ты обидел. И все-таки я обнаруживаю

себя перед „восьмеркой“ с трепещущими на глазах слезами - мастурбационными выделениями, которые я единым окриком гоню с глаз долой: пусть льется только честный труженик-пот. Передо мной заурядное здание с убогими флорентийскими потугами - и что из того, что за этой рыжей стеной в какой-то другой жизни неменяемый юнец, носивший мое имя, захлебывался с удвоенным напором, чтобы отвлечь себя и Катюку от прискорбного зрелища их общего друга, в одиночку поглощающего перенасыщенный вишнями и сливами компот „ассорти“, что из элегантной (узкой, а не пузатой) венгерской банки, открывавшейся без консервного ключа: достаточно было расстегнуть золотой пояс.

- Если разделить, вообще же никому ничего не достанется? - доверительно потребовал нашего согласия Славка, и я закивал головой с удвоенной поспешностью: я-то был уверен, что и молекулу следует делить на атомы.

В трамвае, в автобусе я всегда рвался платить за всех: я каждого встречного считал другом и стремился стать хоть чуточку его достойным. Теперь, когда я к этому больше не стремлюсь (Катюка всегда не верит, когда я говорю, что мне все равно, хороший я или плохой), я поступаю точно так же, потому что быть иным мне противно. Тоже, наверно, мастурбация своего рода... а Славка - главным несчастьем его жизни было то, что как Дарвин не считал пять минут малым временем, так он не считал пять копеек малыми деньгами. Я старался этого не видеть, потому что не умел прощать - умел лишь забывать. Теперь я забывать не умею, зато презирать, кажется, выучился неплохо. Но я в свое время был удивлен, обнаружив, что простодушная Катюка прекрасно замечает, кто первым и кто последним берется за кошелек - и ничего: мной она гордилась: к Славке снисходила.

Кажется, вариант „весь компот - Катюке“ мне тоже еще не пришел в голову, хотя Катюка уже не раз изумляла меня тем, что может отправиться в магазин купить банку этого самого „ассорти“ или сто грамм конфет „Южанка“. Разбирать сорта конфет - это само по себе было странно, а уж специально покупать можно было только отдельную колбасу по два двадцать или водку, а конфеты есть, только когда угощают. Я, как все люди с тонкой душевной организацией (для меня это не самокомплимент, а признание в

постыдной слабости), собственно, тоже знаю толк во вкусной еде, но на что-то ради нее пускаться... Я начал познавать душу женщин гораздо позже, чем их тело.

Сегодня я многое бы отдал, чтобы снова сделать Катю лакомкой - это означало бы хоть крошечную регенерацию спасительного легкомыслия...

Зарекался же пить эту слезогонную жидкость - я теперь избегаю даже музыки: с первых же аккордов оказываешься словно бы в ударяющем по глазам не столько даже невероятной красотой, сколько огромностью зале, но уже в следующие секунды у него как будто распахивается крыша, и развернувшаяся безмерность поднимает со дна души что-то настолько огромное и бесцельное - мастурбационное. Мне некуда это деть. мне негде с этим поместиться в реальном мире. Сегодня покойная теща с гораздо большим основанием могла бы меня упрекнуть, что я не люблю музыку, чем в те времена, когда, проживая пятым в пятнадцатиметровой комнате, я постоянно стремился выключить вечно распевавшее радио и, урывая минуты уединения, заходил над исцарапанным Бетховеном, сунув голову в ободранный чемоданчик одиннадцатирублевого проигрывателя из комиссионки. Тогда музыка не была мастурбацией - она переполняла меня не только слезами, но и решимостью. Я был не из теперешних наркоманов-мастурбаторов, одурманивающих себя, чтобы спрятаться от жизни - я одурманивался музыкой, как викинг соком мухомора, чтобы ринуться в сечу. Только сеча должна была стоять меня и не быть совсем уж бессмысленной, то есть безнадежной. Но таковых не нашлось.

Из безбрежных мастурбационных пространств духа я в который раз материализовался на тесной жаркой площади... Ба, площадь перед Баном - библиотекой академии наук - теперь носила имя Сахарова!

Впервые это имя было выловлено из Бибисей Толиком Кучеренко, обструганным простовато, как все любители политики, во время таймырской шашки на берегу ледникового озерца, то и дело вспарываемого галошами гидрокурузничка „Сергея Санин“, на фоне далеких сопков, обведенных голубиной нежности сизой каймой, - „отец водородной бомбы“ и ту пору звучало для меня

немногим почтеннее, чем „отец стиральной машины“. В нашей аристократической гильдии точные науки (все прочие были не науки) считались чем дальше от реальности, тем престижнее: превыше всего сияла какая-нибудь топология, матлогика, алгебра. Дисциплины, в которых появлялись какие-то признаки жизни - дифуравнения, теория вероятностей - числились уже заметно пониже, а уж механика, кишущая столь низкими словами, как „маховик“, „угловая скорость“... (Я был, кажется, единственным на курсе, кто добровольно пошел на механику - это был первый шаг к чему-то грандиозному - космос, термояд...) Немудрено, что чем ближе к жизни, тем чаще ученый люд начинал напоминать слесарей и электриков. Однажды на гулком вечернем матмехе Славка радостно притащил какого-то веселого прибабахнутого еврейчика, который умел по внешности отличать математиков от механиков. „Он кто?“ - Славка радостно показал на Мишку. „Математик“, - поколебавшись, определил кучерявенький эксперт (мы все были механики из одной группы). „А я?“ - возликовал Славка. „Механик“, - Славка потом еще долго, но ничуть не менее радостно повторял его безнадежный жест. „А он?“ - на мне прибабахнутый вновь заколебался, но все же квалифицировал меня ближе к механике, что несколько меня уязвило: это было что-то вроде грани между истинным интеллигентом и технарем, ленинградцем и провинциалом, евреем и русским (поскольку в моих горняцких палестинах единственным евреем всегда оказывался мой отец, - потрепанный жизнью барсук, а в кино разным сверхинтеллигентам норовили придать неизвестный мне тогда еврейский облик, я долго не видел никакого национального аспекта в том приятном обстоятельстве, что на матмехе так много интеллигентных лиц - каждое четвертое, как утверждали знатоки). Ну, а если бы я добрался до реальной плазмы со всеми ее железяками и шоферюгами, которые их обслуживают... Для мастурбатора грандиозными бывают только образы, символы - реальность для него всегда ничтожна.

Короче говоря, Сахаров был не фигура. И когда Толик, ворочая запорожской шеей, внушительно, словно рапирой, вращал тараканным усом „Спидолы“ - „...здесь-то всякий может, а Сахаров плат-

форму выдвинул“, - я ощущал лишь кислый скепсис: ерунда, небось, какая-нибудь... Права человека, соблюдение законов... Что можно отнять, не право, что можно нарушить, не закон - кто же принимает всерьез писанные законы, в ДК „Горняк“ тоже висели на стене правила для танцующих: запрещено появляться в нетрезвом виде, запрещено искажать рисунок танца, девушка имеет право отказать пригласившему ее кавалеру... Попробуй откажи какому-нибудь урке! И когда впоследствии до меня доносились очередные бедствия бедного Сахарова, я испытывал только сожаление пополам с досадой, словно какой-то пятерочник отправился в „Горняк“ на танцы и там, ссылаясь на правила внутреннего распорядка, вступил в конфликт с тамошней братвой. В моем родном ДК считалось даже и незазорным повиноваться фиксатой реальности: являясь в зал после начала сеанса, какой-нибудь блатарь наощупь брал за шкирятник и удалял с места ближайшего подвернувшегося, гадавшего лишь, кому принадлежала властительная длань: Лупатый? а может, сам Москва? Уважение к силе как решающему аргументу посюстороннего мира внушила мне отнюдь не та рука Москвы, о которой столько галдели пошляки всего мира: марксистско-ленинское учение о верховенстве насилия было так убедительно потому, что оно всего лишь возводило в ранг верховного закона порядки блатных. Я много лет мечтал отдать жизнь за что-то великое и прекрасное, а потому мне ни разу не пришлось в голову вступить в борьбу с урками или партийными боссами: мы были такие блестящие, веселые и неповторимые, а они такие серые, безликие и непобедимые - а ведь даже герой из героев не ввязался бы в бой с дурным запахом из общественной уборной.

Когда Славка начал мастурбировать диссидентством - осторожноенько, в моем присутствии, по крайней мере (в нашей компании было не принято гореть трюизмами, звать в воду, не прощупав броду): но ведь, мол, в странах с частной собственностью живут лучше? „Кто-то лучше, а мы, может, будем хуже... Частная собственность не только в Швейцарии - она и в Африке, частная собственность...“ - нудил я с неловкостью за то, что толкую о вопросах, в которых мы оба ничего не смыслим. Да и кто сказал, думалось мне, что материальный уровень самое важное, может быть, пси-

хологические потребности всегда будут идти в разрез с экономическими...

- Тебя не удивляет, - вдруг дошло до меня, - что на семинарах мы, сравнительно понимающие люди, месяцами не можем найти решение. А то и никогда. А политические проблемы в тысячу раз более сложные, изучают их в тысячу раз менее тщательно - и за три минуты приходят к полной ясности. Не странно ли?

Славка задумался (это-то нас и сгубило), а у меня еще тогда забрезжило, что массовые модели (мифы) социальной жизни создаются не для понимания, а для коллективной мастурбации - для совместного потрясения то восхитительным, то ужасным, но неизменно освобожденным от всего неопределенного и противоречивого, а следовательно - всего истинного. И вот - безумство храбрых - Сахаров обзавелся площадью близ университета, где профессора теперь получают по сто двадцать долларов в месяц, Славка обзавелся тремя аршинами Земли обетованной, а я, скользкий от пота уж, все еще ползу над пропастью вдоль Биржевой линии по мостику шириной не менее полуметра - но лучше все-таки не оглядываться. Все нормально, все можно пережить, нужно только не жалеть себя, а еще лучше - немножко ненавидеть. Тогда алчность, лживость, юдофобство - жизнь как жизнь: только дураки возмущаются, что осенью идет дождь.

Сейчас-то я вполне автоматически делю людей на евреев и неевреев: я никому не подсуживаю, а в сфере духа, пожалуй, болею даже за неевреев (евреи уже достаточно набрали здесь очков, да и вообще всякое профессиональное разделение, совпадающее с разделением национальным, более всего опасно именно для меньшинств) - только с евреями мне проще: по крайней мере, не услышишь антисемитской пакости (пакостью я называю исключительно ложь, стремление объявить недоказанное доказанным). Но в ту пору я квалифицировал лишь носы на интеллигентные и курносые. У Славки был даже чересчур интеллигентный, но слишком уж мясистый и скругленный. А из еврейских фамилий на „ич“ известен мне был один-единственный легендарный Рабинович: Славка Роич - это был почти Олеко Дундич. Поэтому когда Славка на промозглой трамвайной остановке у Двенадцатой линии вдруг почти сердито поделился: „Я считаю, нашему поколению

не на что обижаться“, - я сначала ничего не понял: разумеется, не на что... только какому это „нашему“? Вот отец мой - он в пятьдесят третьем чуть не год просидел без работы. Спасибо еще, не посадили - лишь тут для меня что-то забрезжило, хотя от всяких роковых еврейских дат дома меня всячески оберегали, дабы не ссорить со средой (тем самым обезоруживая меня перед нею).

И я почувствовал между нами некое единство - единство соучастников, хотя до этого наши отношения были скорее напряженными.

С неделю до того наш курс зачем-то бросили прочесывать ночное Смоленское кладбище - загонять каких-то бандитов не то маньяков. Когда нас выстроили у еще неизвестной мне черной Смоленки (окружающие трущобы были упоительны), милицейский майор, светя себе фонариком, начал с усилием выкликать по неразборчивому списку: „Авдеев!“ - „Я!“ - шутовски взвизгнул какой-то весельчак. „Антипенко!“ - „Я!“ - тот же голос заводной куклы. „Хорошо, правда?“ - совершенно по-детски обрадовался Славка. Но постепенно зубоскальство иссякло, и наш одноклассник Петров, - редчайший феномен - интеллигентная курносость, - тяжело вздохнул: „Я, пожалуй, начну все выводить из леммы Бореля...“ „Это как?“ - заинтересовался Славка. Петров начал что-то царапать на стене под фонарем, Славка серьезно вглядывался, что-то переспрашивал, и я - от скуки и отверженности - поднял кривую палку и начал играть ею в лапту крошечном асфальта. Славка склонился ко мне, как к глухому, и только что не по складам растолковал: „Это у вас в деревне можно так делать. А в Ленинграде нельзя“. Я подумал и сообщил ему: „Ты дурак“. - „Я дурак? - он как будто не поверил, но все-таки расстроился: - Ну ладно, ну хорошо, ну пускай...“ Уважение к истине никому из нас не позволяло на слово ответить делом, на суждение ударом. Это нас и сгубило: мы уважали наших врагов. Но ведь стать взрослым и означает признать реальность и смириться с ее властью... Славка даже в диссидентскую пору восставал исключительно против неписаных, то есть реальных прав партийных вождей. В первый, уже денежный, их с Пузей приезд из проклятого Арзамаса-16, после чудной прогулки по Невкам, они затеяли отвратительный

скандал в случайном буфете из-за того, что в меню не была вписана какая-то хренотень. А потом уже борьба шла за свободу слова, которое они желали запечатлеть в „Книге жалоб“. „Ну хватит, ну зачем портить день“, – тянул я их за рукав, пока к Славке на мгновение не вернулось чувство... нет, юмористическим здесь было только выражение лица: „Так пусть напишут, что мы не имеем права!“

Не хватало еще угодить под машину: реальность знать не желает наших фантомов – честь, справедливость, красота, – она не прощает только неосмотрительности, презрения к ней самой. Выждав просвет между вжикающими машинами, я пересек набережную Макарова увесистой трусцой и на поребрик взобрался с усилием, как будто отяжелел не на пять, а на пятьдесят кг. Тучков мост... В тот раз я даже вздрогнул, когда, не успев одеть его в привычный ореол, я случайно увидел из троллейбуса Юру, шагающего по мосту сквозь редкую метель в слишком длинном (шинель Дзержинского), слишком давно купленном потертом пальто и шапке с пружинящими, словно подбитые крылья, опущенными ушами – хорошо еще, верх был не кожаный, пенсионерский, а как полагалось, черно-бархатный, хоть и с проплешинами. Я сразу понял, что Юра шагает из фирменного, отделанного цветным деревом, магазина на Петроградской, где продавались кубинские сигары: Юра умел раскуривать их так, что даже отпетый циник позабывал о его доходе в двадцать рублей, ежемесячно присылаемых матерью из далекого Магадана. Этого короля первым начал играть восторженный Славка, чем с нашей помощью и доломал Юрину судьбу, придав его персональному фантому некое внешнее правдоподобие. Юра желал быть Печориним в демократическом обществе, принципиально не допускающем аристократизма, не позволяющем даже сановникам передавать по наследству свои чины и владения. Юре-то и с самого начала было запаadlo, будто школьнику (тем более, уже в третьем престижном вузе), ездить на занятия, выходить к доске, выслушивать неодобрительные замечания – чтобы держаться с преподавателями по-свойски, нужно было до этого пахать с не менее унижительным усердием; когда же после академки Юра оказался в одной группе с нами,

хозяевами жизни, беспечно блиставшими и у доски, и в репликах с места (меня вообще вызывали только для особо трудных задач - а заодно слегка щелкнуть по носу, что никогда не удавалось)... Но и после отчисления Юрины унижения не прекратились: пришлось подкармливаться за счет наших батонов, пришлось скрываться от коменданта, а потом уже и от милиции - „тунеядка“ грозила тюрьмой... Сколько же неординарного народа погубили и вознесли эти фантомы!..

Господи, совсем выжил из ума - я балансировал по кромке тротуара. Уж не по этому ли самому поребрику я тогда никак не мог пробежать больше пяти-шести шагов (зато только подумал - и взлетел обратно) после стакана портвейна? (Была такая манера - шел мимо и шарахнул стакан.) Катька наблюдала за моими пробежками с умильным неодобрением взрослой тети. Чумазые весенние работяги откачивали из люка какую-то дрянь - я, конечно, не мог не пробежаться и по глотательным вздрагиваниям их ребристого шланга. Делать, что ли, нечего, сквозь треск насоса рыкнул на меня один чумазый. Ты же неправильно лопату держишь, укоризненно проорал я в ответ, и он, на мгновение остолбенев... Глупый мальчишка, с грустной нежностью сказала Катька, когда мы удалились из зоны акустической досягаемости, и я разлегся в этой нежности с еще большим комфортом.

Наконец я догадался взять у Катьки сумку. „Ого!“ - „Да, тяжелая, одиннадцать метров“. - „Уже и вес начали мерить метрами?“ Оказалось, это были занавески для какой-то ее белорусской родни. Мы уже бессознательно нащупывали путь к физическому сближению - начинали осторожненько касаться изнанки наших жизней: родня, ее бытовые нужды и привычки... Мы как раз перебежали к этому вот устью Волховского, где теперь расположилось постоянное представительство новорожденной республики Саха „Бастайаннай бэрэстэбиитэлистибэтэ“. А вот эта тысячу раз истоптанная брусчатка - черные полукружия, как в переспелом подсолнухе - оказывается, Тучков переулоч. Эта арка - вроде бы проходная до Съездовской линии...

Помнится, эти ворота тоже сквозные... во дворе духовка с привкусом пыли, из окна завывает довольно красивое меццо. „Кто так сладко поет?“ - радостно округлил бы глазищи Славка. „Бала-

лайка!“ - вдруг тренькнуло во мне: Славку же в детстве учили играть на балалайке! Отмывал его отец от космополитизма, или в этом еврейском снабженце тоже таился романтик? Выучить ребенка балалайке, а потом отдать в техникум, чтоб имел священную „специальность“... Славка часто потешался над своим красным дипломом „Обработка металлов давлением“... У отца его ястребиность была не оглаженная, Славкина, а подлинная, хрящеватая - внезапно стекающая с язвительного подбородка роскошным жирным жабо. Служитель реальности силикатных кирпичей, цемента и дранки, гроссмейстер преферанса, из любого спора саркастически вылавливавший материальную основу, кто кому и сколько заплатит. Серьезно попросил Славку, щелкавшего шариковой ручкой: „Дай я сломаю“. Отец отказался написать Славке разрешение на выезд - его дочь от второго брака работала на авиационном заводе. Славка даже на похороны к нему не поехал. Понимаю: каждому своя шкура дороже. Не понимаю одного: как при этом можно считать себя правым? Чтобы ощутить симметричную правоту другого, не требуется ни морали, ни доброты - одна только честность: честность на три четверти и есть мораль.

Когда я разыскал его в Бендерах - никакой пользы, кроме неприятностей, контакты с отказником мне не сулили, да и нельзя сказать, что я прямо-таки жить без него не мог, - но - как-то невозможно было позволить человеку просто исчезнуть. После ошалелых объятий Славка со смехом рассказал, что время от времени к нему врывается милиция - якобы в поисках преступника - и у всех присутствующих переписывает паспорта. Я как раз ждал утверждения диссертации, а потому улыбался довольно натянуто. Славка же, ничего не замечая, переменял выражение на скорбно-презрительное: к ним теперь ходят одни отказники, остальным в КГБ пригрозили кому чем - у жены в школе отнимут десять часов, тестю в торговле дадут десять лет... Они потом по одиночке подходили, извинялись - просто исчезнуть считали непорядочным. „А слушаться этих не считали непорядочным“.

Я в изумлении воззрелся на него: а ты бы чего хотел? Ты печешься о своих интересах, а они о своих. Если я махнул к тебе с черноморского сборища по теории графов, ставя под угрозу свою карьеру, то исключительно по собственной. Но ведь самое

главное объяснять бесполезно - можно только принимать или не принимать человека с его кривобокой решалкой. Я принимал. До поры до времени.

Славка достоинства ампутации оценил раньше меня (и то сказать, мы постоянно были для него источником сомнений - источником сравнений: его Марианны с Катькой, его образа жизни с моим, его решимости уехать с нашей решимостью остаться), но зато не так последовательно. Разысканный мною, несмотря на конспирацию - в паспортном столе он оставил липовый будущий адрес: дом с таким номером приходился как раз на середину Невы, - он сиял, как умел сиять только Славка. „Здорово ты выглядишь - крепкий такой!“ - мужчины друг другу подобного обычно не говорят. Да и не замечают. По крайней мере, я лишь после этого его возгласа, который он как бы не в силах был сдержать, обнаружил, что он не только облысел, но и отек. Потом под отпущенной бородой (помню дымчатые ее истоки, подбриваемые под Линкольна) отечность стала не так заметна, и в редкие его заезды я скорбно мирился и с этой бородой фрондерствующего еврея, придававшей ему сходство с гениальным лириком Афанасием Фетом, и с его мелкой насечки вельветовыми джинсами, явно свидетельствовавшими о контактах с иностранцами. Но уж пластиковый-то пакет с пламенеющими ивритскими иероглифами он мог бы оставить в чемодане! Знал же он, что в моем университетском доме всегда поглядывают из окна два-три доносчика.

Славкин барак походил на наш заозерский, но - с двумя комнатами, обставленными ностальгической послевоенной мебелью, с жизнерадостным седеньким тестем из железнодорожного депо (мы в первый же вечер дружно отправились туда в халявный душ вместо платной бани), с его иссохшей, сицилийского вида, сестрой в черном, близоруко вкалывавшей Славке инсулин в терпеливо, по-коровьему подставленное плечо. Зато я не обнаружил пластинок - оказалось, закадычные Бах с Шубертом (ни дня без ноты) упакованы для отъезда - лет на десять-пятнадцать. Славка и без концерта для чембало с оркестром - невероятно!..

Славка с Марианной все эти годы как будто не жили, а сидели на чемоданах. Правда, сидели довольно идиллически: по кроткому зову супруги Славка самолично переливал растительное масло

из бутылки в графин, радушно поясняя: „Они разливают, а я их ругаю“, - споро изготавливал контрольные для заочников, ограждаемый от наглости деловых партнеров грустно-заботливой Марианной: „Слава ему уже десять раз сказал!..“ С заглянувшей в гости суперинтеллигентной (супер-еврейской) парой Славка держался обиженно, передернулся, когда нервно-красивая, будто кровная кобылица, гостя светски поведала, как ее ценят в музыкальной школе. „Они та-ак на американских посылках зарабатывают - они их распределяют аж до Новосибирска!“ - обличил их, царственно откланявшихся, Славка. „Мы просто друг другу надоели“, - мудро вздохнула Марианна, вообще-то склонная к выпренности: Додик (Марик, Зусман, Бляхман) необыкновенно, божественно талантлив... „Как все у тебя“, - иногда досадовал Славка. Даже совершенно обычные двоюродные ее братья (у нее просто „братья“) с диковинными румынскими именами, прижимавшиеся с двух сторон к „Спидоле“, чтобы сквозь писки и завывания расслышать слабый голос Израиля, были у нее красавцы и почти атлеты. Казалось, только в Славке она не находила ни гения, ни атлетизма (а он играл в баскет за университет!). Зато о Славке она явно заботилась, кормила, и мы с нею подружились, несмотря на обоюдную ревнивую настороженность. (Правда, я так и не понял, обижаться мне или скромно ликовать, когда она твердо указывала: „Тебе повезло!“ - если речь заходила о Ленинграде, об университете.) В делах житейских она вела себя как нормальная умная женщина, не подводила свои дивные черные очи: „Как я завидую Фраерзону, его бесстрашию, его пламенности!“ - Фраерзон, вызванный свидетелем на процесс евреев-угонщиков, объявил, что разговаривать будет только на иврите, а когда для него наконец добыли переводчика, заявил через него, что показаний давать не будет. Славка за пределами диссидентской службы, состоящей наполовину из выпендривания перед „органами“, тоже врос в тамошнюю жизнь, занялся шахматами, вышел в чемпионы города - при его памятьности на частности он был рожден для прикладных наук. Он, в отличие от меня, превосходнейше помнил все количественные параметры годовалой дочки чуть не за каждый день, с доброжелательным любопытством наблюдал, как ее кормят кашкой, из-за спин восхищавшегося кагала: „Ест только гус-

тую - редкую даже не предлагай!" Да, он же единственный из моих приятелей проявлял интерес к нашей с Катькой дочке - подолгу с приязненной улыбкой простаивал над детской коляской, заменявшей ей кроватку. А теперь сам прогуливался с коляской по одноэтажной улице как прирожденный провинциал - это он, считавший Свердловск нестерпимым захолустьем.

Тот, кто не хочет кормить свой фантом, обречен кормить чужие. Славка вполне мог быть счастлив в Союзе - он увлекался почти любой работой, с окружающими сходилась хоть и не по-маниловски, но и не считал контакты с ними чем-то гадким: жить бы да жить. Славка не догадывался заметить над собой власть фантома, и когда я наконец решился его спросить, чего ради он уезжает, он начал припоминать то, другое, явно не каждый день его волнующее. И только самым последним вспомнил: да, я же еще больной человек, диабетик, от советского инсулина вырастают бельма - ну, это он прооперируется... Бывает еще гангрена. Хотя... Глупо, конечно, об этом думать заранее, но в Израиле, говорят, вшивают какую-то коробочку... Ни ему, ни мне было не догадаться, что он снова потянулся за чужим фантомом.

Собственное бордовое вино, мясистые китайские фонарики перца, слезливая молдавская брынза, запеченное в духовке сургучное мясо - Славке было почти уже ничего нельзя, но пронесло нас почему-то одинаково. Сортир у них был подальше нашего, в соседнем дворе... Правда, нашенских морозов здесь они не нюхали... Зато вьюжными или дождливыми ночами у нас спокойненько можно было отлить с крылечка - пока соседская девчонка не начала простаивать на нем со своим ненавистным хахалем. Зато у Славки для неженки в кладовке стояло эмалированное ведро, накрытое деревянным квадратом с дырой посередине (когда Славка сделался важной персоной среди отказников, ему самолично звонил из Штатов какой-то прикидывающийся дурачком сенатор, никак не могший взять в толк, как это в доме может не быть ванной). Зато у нас в Заозерье каждое посадочное место круглилось в собственной кабинке, а у них приходилось рассаживаться парами. Я в таких делах не сторонник публичности, а Славка тархтел как ни в чем не бывало, хвастался, что только здесь у него рассосалась вода в колене, набитая в нерегулярных матчах в проклятом Сарове-

16 - а то он уже боялся быть навеки прикованным к сидячему сортиру - нога не сгибалась... Через много лет Катька, краснея, призналась мне, что среди бесчисленных Славкиных неотесанностей Пузя жаловалась и на такую: он мог из туалета попросить у нее бумажку. В „свадебном путешествии“ - в поезде до Риги - одна подушка им попалась получше, другая похуже, - Славка честно разыграл их по жребию и выиграл хорошую. Она всю ночь прострадала, а потом еще ночей триста его прогрызла, так что (не трожь..., как-то вырвалось у него) впоследствии он всегда внимательно оглядывал делимое и отдавал ей долю получше. Но - поколебавшись, чем полностью... Вот Юра всегда был на высоте - или широк, или жесток. Однажды Славка с чего-то вообразил, что Пузя заперлась с Юрой - и выломал замок! Такие страсти, но - после „этого дела“ он никогда ее не целовал. Лишь усиленные попреки заставили его проделывать это равно два раза. Пузя делилась с Катькой, что ничего с ним не чувствует - „он же такой свой, лопухий“. Катька, сдуру чему-то радуясь, пересказала это мне: точно, точно, ты тоже мне такой свой!.. Я даже несколько дней обдумывал, с которой из тех, для кого я не свой, отплатить за это смертельное оскорбление. Потом мы объяснялись, Катька плакала и больше подобных ошибок не допускала: Пузя не зря твердила нашим общим знакомым, что Катька ужасно хитрая. Как-то весной я махнул на попутках в Пушкинские Горы, прихватив с собою Славку - мы обе три дня проплакали, рассказывала Пузя, но когда мы со Славкой, замызганные, но довольные, появились в дверях, она как честный человек накинулась на него с упреками, а Катька подло бросилась мне на шею. Да, наверняка это именно Пузя подменила нам сковородку: мы оставили им на лето нашу утварь, которой сразу же начала обзаводиться Катька, а осенью сковородка сделалась непригодно верткой на своей деревянной ручке... Пузя должна была безостановочно кого-то грызть - у крыс без этого зубы проникают в мозг, - поэтому Славка всегда должен был находиться под рукой: ей почему-то казалось, что так будет продолжаться вечно. А потом в термоядерном Арзамасе-666 она на месяц уехала в командировку, и Славка зарулил к какой-то копировщице - и с усилием вспомнил, что можно, оказывается, не ощущать себя каждую минуту виноватым... Но главное - он

испытал невероятное счастье в столовой: хочешь занимай очередь, а хочешь приди через полчаса - и ни с кем не надо полдня собачиться. Потом Пузя приезжала к нам в Заозерье, плакала, и Катька в пароксизме великодушия подарила ей чудом вымененного Камю. Пузя на это рассказала, что Славка при разделе совместно нажитой библиотеки не согласился без выкупа оставить ей свою половину, и когда Славка, наконец перебравшийся почти в Ленинград - на пригородную атомную станцию, впервые заехал к нам, Катька по обязанности долго его ругала. Но Славка только сиял округлившейся физиономией, а потом повел нашу дочку в дощатый синий магазинчик и купил ей шоколадку. „Это мне?..“ - не поверила она. „Тебе, тебе.“ - „Серьезно?!“ - „Серьезно“. - „А почему мама говорит, что вы жадный?“

Жадный-жадный, но Пузя клялась, что если бы начать сначала... Но какая корона, какой принц мог бы утешить (утишить) принцессу, способную отказать мужу в куске батона, когда он с другом в шесть утра отправляется на Бадаевские склады разгружать вагоны (на самом-то деле, порезвиться на воле да обожраться грушамидынями без жены). „Почему я обязана идти в магазин!“ - и нам пришлось кидать ящики со сверхдефицитными бананами без маковой росинки (Катька почему-то отсутствовала), и меня затошнило от первого же мыльно-душистого куска - долго бананов не мог в рот взять, даже когда они появились вместе с демократией.

Одно время Пузя наладилась покрикивать на Катьку - я терпел, пока она не покусилась на позу благородной правоты - решила трактовать Катькину пылкость как авторитарность: „Нет, ты не сказала „мне кажется!“ - и прихлопнула нечеловечески крохотной ладошкой по столу. Неожиданно для себя я встал и вышел. Однако на завтра мы встретились как ни в чем не бывало - она поняла, что какой-то порог переступить не следует. Но я так долго не порывал с нею, уж конечно, не ради ее лестии - нет, это было какое-то табу. (Общие фантомы? Да, она отчасти понимала в литературе - в разоблачительной ее стороне.) А она следующую жертву - деревенского физика - оплела тем же приемом: сначала бесконечная кротость, „понимание“ (Славка, еще гоняя ее из комнаты от Юры, затвердил, что она очень добрая); затем на какой-то

задушевной попойке проникновенная просьба с закрытыми глазами: „Поцелуй меня...“; потом три-четыре недели смущенной влюбленности („Как я могла... С другим была бы такая стыдуха...“) и слияния душ и тел - жертва сама не замечает, как вместо нежностей и ласк ее ночами напролет уже изощреннейше, подкрепляясь одними таблетками и сигаретами, изобличают в изощреннейших низостях. Я-то в спорах был находчив, покуда не сделался честным, но Пузя лживой увертливостью даже и в лучшую мою пору могла заткнуть за пояс и меня: вот уже для кого истина ничего на стоила! „Если бы мы писали друг другу письма, я бы ее, наверно, победил“, - жалобно-юмористически округлял глазщи Славка. Катька была убеждена, что Пузины уловки действительны только для тех, кто в детстве был обделен материнской любовью: Славка вырос с приемной матерью. „Сирот ловит!“ - с невыразимым омерзением повторяла Катька.

Кормить Славку Пузя все-таки изредка кормила: варила дюралевуюбадью супа-харчо в качестве и первого, и второго на завтрак, на обед и на ужин. Зато мыть эту бадью обязан был Славка. „Сразу же очень легко сполоснуть, а она ждет, когда все застынет, присохнет!..“ - ужасалась Катька. „Как можно мужу жалеть?“ - горестно мигая, вопрошала она, вероятно, господ бога, когда мы с нею смаковали гоголевский „Нос“: пусть дурак есть хлеб - останется кофию лишняя порция.

Марианна принимала Славку, каков он есть, а Славка принимал жизнь, какова она есть: оставаясь без чужого фантома, он сразу же переставал куда-то карабкаться. Но не карабкаться означает сползать. Я-то, ощутивши, что начинаю „просто жить“, лихорадочно хватался за какую-то новую трудную книгу, какую-то новую науку и даже физические нагрузки удваивал, начинал вместо холодной воды растираться снегом. Новая жена подогревала Славку хотя бы мифом новой родины, а с Пузей он мог зацветать даже в круглосуточном преферансе с какими-нибудь случайными сожителями Брундуковыми: Феликсом - невысоким строгим слесарем (умер) и Фрезеттой - слободской монголоидной толстушкой (еще жива), помиравшей со смеху, пересказывая чью-то свадебную шутку: „Он открывает коробку, а там... Две куклы!!!“. Славка, будто и не он, прекрасно проводил с ними целые дни, начинал ку-

ритель, бросал тренировки – правда, не удерживаясь от завистливых ядовитостей, когда мы с Каткой возвращались из театра или из библиотеки. Но о партнерах своих по болотцу отзывался по-доброму – в отличие от Пузи, для которой решительно все ближние служили полигоном для недобрых наблюдений, для обглаживания и плевывания их косточек. Никогда не разнежиться, вечно бдеть как стервятник, высматривая слабость – нелегкая это служба. Не зря она однажды призналась Славке, что больше всего на свете хотела бы полюбить людей. Славка, пока имел охоту, оправдывал ее передергивавшими меня примитивностью доводами: она в детстве была целый год прикована к постели, а в совершеннолетию ее кто-то снова приковал к постели – уже Юриной. И теперь она мстит человечеству.

Полюбить бы ей хоть одного – и то была бы разгрузка, но – не знаю, сколько продержалась бы ее роковая страсть к Юре, если бы она хоть на три дня ощутила власть над ним. Любовь, увы, не имеет отношения ни к благодарности, ни к выгоде: Славка вытащил Пузю из полного дерьма – она была во второй раз отчислена и скрывала это от семьи: „Мать умрет, если узнает“. – „От этого не умирают“, – сомневался Славка. „У нее больное сердце“. – „Значит она и умрет от больного сердца“. Короче, Пузя получала от родителей пятнадцать рублей в месяц, „добавку к стипендии“, и кочевала с одной случайно свободной койки на другую, и что-нибудь раз в месяц выбиралась из общежития в пышечную возле матмеха – назад же мы протаскивали ее мимо вахты чуть ли не в окно, коротенькую, яйцевидную, в коротеньком расходящемся зеленом пальтишке. Славка же начал сдавать вместе с нею все экзамены – сначала накачивал чем успевал (она была далеко не дура, но запущена чудовищно), потом ждал под дверью, покуда она выпросится в сортир, и лихорадочно набрасывал конспект ответа: „Поэтому предельная функция непрерывна почти всюду“. – „Что значит „почти всюду“?“ – „За исключением множества меры ноль“, – „А что такое множество меры ноль?“ – „Этого уже не спросят“.

Добился он этим лишь того, что, приступая к аппетитному перечислению его пороков, она скороговоркой, как „Отченаш“, проборматовала: яемуконечнооченьблагодарна... А ведь могла бы еще долго его доить и мороч...

Екнуло в груди: вдавленная плитка в сквозном подъезде все та же - и я вынырываю лицом к лицу с Первой линией. Ба, на месте родного подвальчика „Старая книга“ - кафе „Реал“! Призраки уступают напору реальности, - куда более текучей, чем наши старые добрые фантомы: завтра здесь появится вывеска „Очки“, послезавтра какое-нибудь „Аудиовьюдио“, а послезавтра - салон „Интим“ с платой за право полюбоваться налившимися дурной кровью фаллосами и истошно розовыми, стоматологически вывернутыми вагинами при ухарски подвитых нафиксатуаренных усиках. Нет, никакая реальность не превзойдет те сладострастные часы, что были здесь пролистаны, пока не решишься, наконец, овладеть каким-нибудь Багрицким или, скажем, Бернсом копеек этак за семьдесят.

Угловые электротовары превратились в „Лайн“ с пояснением „Орион“ - мудрый Эдип, разреши. Хрустелей, вроде, развесили побольше - прямо пещера горного короля, - но я таких вещей всегда не замечал, равно как седых колбас дороже пятерки. Теперь их снова завались - эзотерической партийной пищи. Только седину им почему-то подкрасили. А вот низкое солнце вдоль Среднего проспекта лупит прямо в глаза, как всегда в эту пору дня. Ничего ампутировать невозможно - можно лишь перетянуть до бесчувствия стальной проволокой воли. Но стоит ей ослабнуть, и все - с болью, с мучительными мурашками - начинает оживать. Я могу с закрытыми глазами восстановить каждый дом и каждую вывеску - даже хорошо, что солнце не дает мне смотреть вперед (да еще и пот подсушивает). Сливочные эмали невиданных ванн и раковин в окне... да, а булочная с кофейным стоячим уголком, где можно было после тренировки, в полутрансе от пропущенных ударов навернуть ватрушку-блюдце (фанатично худая женщина в брезентовом плаще никак не желала брать пригорелую: „Печень будет кричать“) - ага, здесь теперь цветастое кафе, все наверняка на высшем уровне: пицца с нарисованной начинкой, хот-доги, подплывшие кетчупом, гамбургеры, чизбургеры - одно слово, бистро, наивный стилиста начала шестидесятых не додумался бы о таком и мечтать. Помню, в общажной умывалке долго стояла дикиннинная бутылка с вьющейся, как лиана, надписью "Coca-cola" - владелец наполнил ее янтарной жидкостью в надежде, что кто-то

не удержится и попробует. Лично я был близок к тому. И вот теперь на каждом шагу – "Coca-cola", "Camel", "Marlboro"...

Зазывают посетить Египет, Израиль, Канары – уже не вздрагиваешь даже от слова „Израиль“, вечно сулившего какие-то неприятности. Как быстро все сделалось будничным... Уже не „Сберкасса“, а „Сбербанк“, да еще и „России“ – тоже непривычное на улице слово. Ага, вот и „Интим“. А вот муляжный готический собор – бывшее не то РЖУ, не то ЖРУ, – ныне евангелическая лютеранская церковь; расписание воскресной школы (воскресная школа, Том Сойер!), а в придачу еще и библейский час для новеньких.

Ух ты – парикмахерский салон „Нимфа“, туды ее в качель! Переквалифицировалась из похоронного бюро. А здесь стоял лоток с хурмой – Мишка сразу передразнил долгий захлебывающийся всхлип, который я еще только мог бы произвести. С Валькой у них вышла целая разборка, когда она в ванной подавилась зубной пастой – он считал, что так харкаться нельзя даже под гарротой. Интересно – столовка с петухом на вывеске – (ныне акционерное общество „Петушки“) слилась для меня с угловой конфетницей „Белочка“. А вот полная обнова: через трамвайные пути рисуется новомосковская башенка McDonald's.

Пушистые лиственничные детеныши вдоль Шестой превратились в долговязых, изнемогающих от духоты подростков. Асфальт с чего-то разворочен, вдоль щебенки разложилась истекающая потом барахолка. Продают именно барахло – какие-то старые выключатели, покоробленные туфли... А этот достойный общественный сортир на пьедестале – метро „Василеостровская“ – я помню еще волнующей новинкой.

На стене через улицу уже не проступают буквы НОМЕРА „ЛОНДОНЪ“ – по диккенсовской закопченной растрескавшейся стене раскинулось агентство недвижимости „АДВОКАТ“. В „Лондон“ – солидную столовую с официантками – Славка иногда зазывал меня пообедать по-человечески: для меня-то „по-человечески“ означало ухватить что под руку подвернется. Вот как сейчас, например – в подворотне мелькнул невиданный прежде в таких закоулках продовольственный ларек. Ба, слойка свердловская – сколько зим!.. Когда-то я ампутировал мечту о прорыве в иные сферы

вслед за мечтой о корветах и фрегатах. И не раскаиваюсь, ибо я действовал в меру своего понимания и достоинства. Быть может, я упустил самое важное, самое прекрасное? Маловероятно, однако возможно. Но честность, достоинство, нежелание тешить себя утешительными фантазиями не оставляли мне выбора. И когда почти все мои коллеги сосут лапу, сосу свердловскую слойку. Суховата, неслоена - пора переименовывать вслед за Свердловском. Но в былые времена я и эту бы умял, как обычно, на ходу. А выбросить - ЕДУ! - это табу в меня встроено намертво.

Восьмая линия - трамвайное столпотворение. „Чувствую, кто-то меня толкает, оборачиваюсь - трамвай“, - возбужденно рассказывал Цетлин, как обычно, ни к кому не обращаясь. Надо бы хоть издали взглянуть на желтую граненую часовенку на углу Восьмой и Малого, где заканчивал свои российские дни Мишка, но ведь трамваи только и ждут твоего зевка. Скорее протрусить до угловой табачной фабрики имени какой-то революционной Карменситы - Веры Слуцкой, Клары Цеткин? Или просто-напросто Урицкого? Черт, подмышки уже расходятся кругами... Трамвайную остановку теперь перенесли к метро, но нам и отсюда лишние тридцать метров казались нетерпимы: мы отжимали дверь и прыгивали на ходу. Славка однажды проехал носом - разбил часы на внутренней стороне запястья, да еще и сточил хромированную кромку, так что ни одно стекло в них больше не держалось.

На углу Девятой „Рыба“ прежняя, но пивного ларька уже нет (двое работяг прихлебывали пиво, рассудительно разглядывая пропитанную розовым разъезженную кучу песка: „...На скорости... Мозги сразу вытекли...“) Над прежней пышечной на унылом брендауэре огромный плакат - кроткие пингвины прохаживаются вокруг прозрачной бутылки „Smirnoff“. Никогда не замечал, какой милый, украшенный цветной плиткой северный модерн предваряет последний путь к бывшему матмеху - я в ту пору был убежден, что архитектура не должна служить человеку.

Иссушенное временем и потом сердце все-таки снова начало наращивать удары - когда-то я готов был триста шестьдесят пять тысяч раз в году, замирая, перечитывать вывеску „Математико-механический факультет“, - отколотый угол лишь добавлял ей ореола: у джигита бешмет рваный, зато оружие в серебре.

Мемориальная доска „Высшие женские (бестужевские) курсы - Н.К. Крупская, А.И. Ульянова, О.И. Ульянова...“ была на месте, а что за контора здесь сейчас расположилась - не все ли равно, кто донашивает тапочки из шкуры любимого скакуна.

За дверь открывается незнакомый, а потому нелепый розовый туф. Ирреально знакомые ступени. Ощущение бреда полное - тесный вестибюль с громоздким пилоном посередине был запущенный, но тот же. Нов был только застарелый запах давным-давно вырвавшегося на волю сортира.

Выходец с того света, влево уходил полутемный коридор, нырявший под темные своды гардероба, предварительно выпустив узкий рукав, по которому аппендицитствующий Славка когда-то, скособо-чась, догонял прекрасную Люсю Андрееву. Дальше - отсюда тем более не видное - ответвление в столовую, близ которой подоконник был вечно завален охапищей польт и курток, что строжайше запрещалось, поскольку их время от времени тырили. Но не тратить же целую минуту на гардероб! Столовский котяра был жирен и ленив до такой степени, что даже лечь ему было лень - он брякался набок со всего роста и замирал прямо среди шагающих ног. А вот там у больничного подоконника Мишка веско рассуждал о польской школе в кинематографе. „Привык в кино лихачить“, - как бы огрызаясь - выдавший виды умудренный мужик - осудил он недавно погибшего Збигнева Цыбульского. „А ты смотрел фильм „Влюбленный пингвин“?“ - заинтересованно придвинулся к нему Славка. „Я чешские фильмы не смотрю“, - с достоинством ответил Мишка. „А польские?“ - еще больше оживился Славка. „Смотря какие“. - „Ну, например, „Влюбленный пингвин“?“

Узкая лестница от столовой поднималась к второзэтажным за-кромам „астрономов“, ведущих замкнутый и таинственный образ жизни. А на третьем этаже, в глубоком захолустье, под низкими потолками нас учили таким ненужностям, как инглиш и эсэс (история КПСС). Правда, там как-то вел занятия сам Толя Григорьев - молодая алгебраическая звезда: решил задачу, обратную задаче Галуа (имени великого Галуа было вполне довольно, чтобы не интересоваться больше, в чем заключались обе эти задачи). Славка долго просил меня показать ему Григорьева, и вот когда однажды мы расшумелись у него под дверь и Григорьев высунул

своей полуармянский нос, который легко можно было принять за еврейский: „Товарищи, потише, пожалуйста!“ – я сказал Славке, что это, мол, и есть Григорьев. „Григорьев?..“ – почему-то изумился Славка, и в этот миг (поскольку шум продолжался) Григорьев снова высунулся, так что Славкин выкрик пришелся ему прямо в ухо. Григорьев оторопело на него уставился, а Славка резко повернулся и с независимым видом пошел прочь – вижу его тогдашние шоколадные брюки. (Вскоре Славка получил возможность досыта наглядеться на Григорьева: Григорьев пришел в общежитие к восходящей алгебраической звезде Сеньке Цукеру и облевал у него одеяло: Цукер с гордостью рассказывал, что собирается передать облеваный угол в музей – разговоры о музее льстили всем нам.) Пузя просто наизнанку выворачивалась из-за Славкиной манеры внезапно ляпать, не подумавши. Когда нам, семейным парам, однажды понадобилось отселить четвертого лишнего – это был белобрысый коротконогий гигант по фамилии Шерстяной, отличавшийся глупостью и злобным нравом, а вдобавок произносивший не „наши“, „шить“, а „наци“, „щить“, – мы подыскали ему хорошее место: третьим в четырехместной комнате. Только вот один его будущий сосед был слеп, а другой глух. Было решено про глухого не говорить – не заметили, мол... Мы с Пузей отправились уговаривать Шерстяного... „Слепой так слепой, мне плевать“, – с подозрением согласился Шерстяной. „Представляешь, один слепой, другой глухой!“ – вдруг радостно вывернулся откуда-то Славка. „Так там еще и глухой?!.“ – сдвинул бесцветные брови Шерстяной. Пузя, на мгновение замерев (мученически прикрыв глаза, чтобы не убить), повернулась и засеменяла прочь – у нее не было слов.

Перила главной лестницы завершаются все тем же деревянным калачом, на который так любили надеваться карманы наших всегда распахнутых пиджаков. В глазах стоит мясистый регбист и щеголь Каменецкий, с абсолютно не свойственной ему растерянностью разглядывающий надорванный карман своей тройки. У меня же при моих темпах оказались оторванными полпопы, полезли какие-то парусиновые кишки... Я лишь через неделю сообразил, что вместе с изувеченным пиджаком запихал в фаянсовую урну и студбилет, и зачетку.

У сопроматического закутка шевельнулась чья-то тень - тень Славы Курицына? Не может быть, этот сноб - и сопроматчики, по технарским меркам высокие теоретики („Сопромат сдал - жениться можно“), но у нас что-то вроде трактористов: глаз невольно искал промасленную ветошку, которой они отирали с рук невидимый мазут. Вот и сейчас оттуда выступил седой, но явно неинтеллигентный вахтер. Он что-то жевал, и я почувствовал в руке неуместную надкушенную слойку. „Вам кто нужен?“ Кто мне был нужен - Славка, Мишка? Дебелая (Славкино словцо) простодушная умница и восторженная дура Катька или я сам, тоже не умеющий сказать двух слов, не впадая в восторг или в ярость - и при этом каким-то чудом еще считавшийся очень умным! Правда, не у тех, кто уже тогда испытывал сильные чувства исключительно по поводу личных дел. „Я здесь когда-то учился“, - скромно сказал я. „Тут недавно выпуск пятьдесят шестого года встречался - вы не оттуда?“ „Нет, я закончил Бестужевские курсы“, - уже не без раздражения ответил я.

„Гражданин, я закрываюсь!“ - вот и Слава Курицын был такой же приставучий: вечно прохаживаясь взад-вперед по этому вестибюльчику он вылавливал каждое новое лицо, особенно женского пола, и выпытывал, каковы его (ее) научные интересы (прийти в курятник и допытываться у пеструшки...). Но Пузя спокойно вступала с ним в туманные беседы о роде своих пристрастий (карты и сплетни).

Подвальная теплота вестибюля на улице показалась прохладой. Кажется, я перетерзал свою глубь - на последнее лирическое содроганье ее уже не хватило. Я брел от врат провонявшего рая, словно из запертой жилконторы.

Не заглянуть ли все-таки к Мишке? Но раз уж стальная петля временно ослаблена, я и так прекрасно вижу последнее его российское пристанище - сквозь пропилеи двух желтых домов (ризница? трапезная?) вид на желтую же, тронутую классицизмом по всей договязости квадратную колокольню (наверно, теперь уже отнятую у мин-ва самого малого машиностроения для возвращения прежним хозяевам). Мне и Мишку ничего не стоит восстановить - хотя бы и в первоначальном его облике. Чуть пониже меня, в плечах

не дохляк, напористо склоненная голова с грифельно отливающими, чуточку расположенными слипаться, волосами, нос интеллигентный - с горбинкой, но щеки детски круглы и румяны, как у маменькиного сынка, куртка в порядке - „болонья“, но воротник не поднят, и книзу куртка не сужается, как положено, а висит юбкой. Брюки... цвет стерся, должно быть, оттого, что я первым делом проверял, узкие они или широкие: у нас в школе все еще боролись с ушитыми штанами. У Мишки были не широкие-не узкие, в коленях не пузырящиеся, а сабельно выгнутые. Сипловатый голос, внезапный саркастический хохот, новая для меня манера похвалиться слабостями - открывающая, однако, возможность презрительно хмыкать в лицо тем, кто осмеливается кичиться силой. Своего рода Москва (с другого конца), он часто постоянно проходил по моей крутости - для настоящего блатного действительно недостаточной, - и он же первым начал „не понимать“ элементарных вещей - с подтекстом „уж с ваше-то я понимаю“. „Что-о, ты понимаешь, что такое иррациональное число?!“ - после этого ему оставалось только ухватить со стола свой еще невиданный тогда портфель-саквояж с литой пластмассовой ручкой и негодующей упругой походкой, не прощаясь...

Тогда во мне еще возбуждали почтение личности, умеющие говорить о своих убеждениях и вкусах (боже, какой это мерзкий вид мастурбации - убеждения!) как о чем-то необыкновенно значительном. „У женщины должны быть могучие бедра“, - а мне-то, дураку, всякие были ничего... (Мишка в ту пору был невинен, как шестнадцатилетняя поповна.) И слово-то какое - „могучие“, - сунься-ка с ним в ДК „Горняк“... „Почему-то я не нахожу со сверстниками общего языка - меня всю жизнь тянет к старикам“, - с обескураженной улыбкой: прямо не знаю, что с собой делать. „Мои дяди по матери все страшно головастые, все хорошо учились, а по отцу - ужасно жизнерадостные, талантливые как черти, все могут изобразить. Дядя Залман как-то показывал лошадь - если ее перегрузить, она же не сvezет! - и прямо вскочил на стол: вот так дергался и плечами, и грудью...“ А у нас, у деревенщины, в лицах осмеливались изображать только шуты... Он еще запросто упоминал каких-то компрометирующих дядьев Залманов - при столь дивной русской фамилии. Березовский. Береза!.. Сама

Россия!.. (Такое невезение - сойдешься с человеком просто по интересности, а он, глядь, и окажется евреем). А уж со вкусом расписывать, как тебе били морду... „В пионерлагерях меня всегда терпеть не могли, никто со мной не хотел корешиться... Навстречу целая толпа, в центре тот самый паренек в расстегнутой курточке - невысокий, но очень резкий... Я даже ничего не почувствовал: открываю глаза - уже лежу“.

Столько нового надо было переварить! Мишка и в спорте стремился не к понятной силе, а к какой-то бабской „подтянутости“. Но уж наша старенькая, постная, скудно завитая эсэсница - тут сразу становилось ясно, что это не Университет, а все еще школа, - дурачить училку - наш прямой долг: один глаз, блудливый, в учебник под столом, другой, преданный, ей в рот, на все случаи помнить одно: бедные и угнетенные всегда смелы и благородны, богатые и процветающие - жадны и трусливы. (Подумать бы им, что этот же принцип мы автоматически перенесем и на отношения в собственной стране.) Однако применять научные критерии к „науке“, явно ставящей целью скрыть истину - здесь глупости хватало только у Мишки. Этот наследник Москвы усаживался за первый стол с видом заранее недовольного инспектора и раздраженно пожимал плечами: что значит „дряблость либералов“? что значит „разброд и шатания“? дайте точное определение! приведите факты! Будто речь шла о дедекиндовых сечениях... У бедной старушки на малообещающем личике выражалось такое страдание, что только садист... Эсэсница просигнализировала в партбюро, и вечный парторг Митюхин (из сопроматчиков - нечистого серебра седой чубчик, вечная беломорина меж двух башмаков - носа и подбородка, в шестьдесят восьмом написал анонимку против вторжения в Чехословакию, был изобличен, опозорен, низвергнут и прощен), усадив его напротив, распорядился: „Ну, рассказывай“. „Что рассказывать?“ - с преувеличенно изумленным смехом изображал Мишка. В итоге он остался без стипендии, вынужден был выучить чуть ли не наизусть и „Что делать?“, и „Как нам реорганизовать рабкрин?“, а в довершение обвинил меня, получившего зачет-автомат, в низкопоклонстве. Но ведь я вел себя с эсэсницей точно так, как полагалось вести себя с баб Груней, сторожихой, не позволявшей прорваться на танцы без билета: в

этом виде спорта было дозволено все - лезть, обман, - кто же держит сторожих за людей!

Нет, хвастаюсь: когда в весеннюю сессию эзэсница обнаружила, что я ровно ничегошеньки не знаю о раскольничьей политике право-левацкого, почти каутскианского, блока, ее измятое личико дрогнуло такой болью, что я - хотя она от растерянности была готова выставить предавшему ее любимцу четыре шара - поскорее схватил зачетку и поклялся к передаче выучить все съезды и пленумы. Но, к несчастью, я не умею даже вчитываться в бессмыслицу, и оправившаяся от моей подлости бабуса вкатила бывшему активисту тройбан даже с некоторой щедростью. Скольких повышенных степендий я недополучил из-за марксистско-ленинской мути!.. Но я не сердился: ихнее дело ловить - наше воровать. Только уже на пороге блестящей дипломной защиты во мне вдруг проснулось нелепое достоинство: когда нам внезапно назначили госэкзамен по философии, я был близок к теракту или самосожжению. „Ведь мы сдадим и забудем, а этого забывать нельзя!“ - повторял я таким пересохшим голосом, что теперь уже Мишка косился на меня с тем смущением, в которое его ввергала любая искренняя страсть.

До его монастырька квартал вправо - или хрен с ним? С Мишкой. Он первым нас ампутировал, так и я не позволю его призраку долго разгуливать в пределах выстроенных мною оборонительных сооружений.

С Малым проспектом, в наши времена облупленным и сыплющимся, похоже, решили разобраться радикально: что-то выкрасить, а что-то разбомбить окончательно - на месте нашего пивбара зияли черные дыры. Этот шалман восхищал меня именно своей гнусностью - я ценил любое совершенство. Пластиковые столы, как пьяные на льду, растопыривали трубчатые ноги, но все равно вихлялись во все стороны. Бухая баба в грязном белом халате приближалась, пританцовывая, и - раззудись плечо! - прямо на тебя смахивала со стола раскисшее крошево сушеной воблы - но я с моей боксерской реакцией успевал отпрыгнуть вместе со стулом. Однажды вокруг нашего веселого столика внезапно закружилась какая-то метель - официантка драла седые космы у старого алкаша, сказавшегося несостоятельным. Он же скучающе от-

махивался как от мухи: да кончай ты, ну чего ты как маленькая...

Мишка раньше меня принялся выстраивать свою невозмутимость - отвернувшись от журавлей в небе, получше приглядываться к лужам под ногами. Расставшемся с незрелыми фантазиями уму становится предельно ясно, что в мире есть лишь два рода предметов: те, что доставляют удобство, и те, что причиняют неудобства. И дело взрослого человека по мере сил идти к первым, по мере возможностей избавляясь от вторых. Еще в Кружке Пива Мишка вдруг перестал есть грибы: нездоровая пища. „Но они же вкусные?..“ - „И что?“ Это был один из первых симптомов отрезвления - поворота от фантазий к реальностям, от мимолетных самоуслаждений к прочной долговременной пользе. Возможно, человек начинает искать утешений на земле, только когда его отвергнет небо, естественная его стихия - не факты, а фантомы: истинно человеческий эскапизм - бегство в действительность, а не наоборот, люди начинают искать пути на землю, когда собьются с дороги в небесах. Мишкин путь к невозмутимости начался с бунта (который лишь постепенно перерос в смирение перед реальностью). Мне рассказывали, что в его первой, секретной и престижной конторе Мишку пытались пристроить к серьезным задачам, но... Питомцам ясных вершин земные дела представляются отвратительно неряшливыми и бесформенными. „Какое трехмерное тело с заданной площадью поверхности имеет максимальный объем?“ - спрашивают на Олимпе, и можно с чистой совестью ответить: „Шар“. „Посоображай, какие носки лучше всего поддеть под валенки, - мимоходом бросают в земной суতোлке. - Но только чтоб не очень толстые, чтоб не горели при полутора тысячах по Цельсию и чтобы, конечно, нравились Ездуну из Верхней Пыжмы“.

Мишка не снес подобной неопрятности - он и в жизни-то обожал давать точные определения там, где их заведомо быть не может: любовь есть то-то и то-то, политика есть сё-то и сё-то, - разумеется, он потребовал точно сформулировать, чего от него хотят (от него ждали как раз того, чего он требовал от них). А пока суд да дело, он взъелся против тамошней манеры всем непременно отсиживать по восемь часов, тогда как любому букварю известно, что человек может что-то соображать только во время движения. „У

меня задница болит!" - возмущался Мишка, каждую субботу навещая нас в Заозерье. Тогда мы с ним здорово сблизились - не в делах, их у нас не было, но в главном для романтиков-мастурбаторов, ставящих чувства выше дела, - в понимании. То мы в Рубенсе разом что-то открывали, то в „Казаках“ - „Когда подумаешь, что это тоже он написал!..“ Тем временем на работе задание ему сумели уточнить до того, что усадили его с циркулем измерять угловые расстояния на глобусе. Он же, не веря своим глазам, взирал из-за глобуса на тех поразительных личностей, которые приращение функции вместо формулы Лагранжа оценивали через сумму модулей - „полная беспомощность“.

Хотя отношения в отделе остались вроде бы неплохие - на него, видно, смотрели как на ученого придурка. Его начальник, заплывающий амбал, мордовскими глазками и мелкой кучерявостью напоминавший Славу Курицына, беспросветный технарз, окончивший чуть ли не СЗПИ (символ убожества -заочный политехник), однажды сказал про его английского Хемингуэя: „Читал Хемингуэя - не понял ни ...“ - Мишка пересказывал это довольно снисходительно. Он не отрывался от народа: с гадливостью отзывался, как один хмырь у них подарил сотруднице на Восьмое марта мочалку, и та чуть не заплакала; вместе со всеми выезжал на лыжный День здоровья, а на обратном пути, уже ничего не соображая, раздвинул на Финляндском сортире сомкнувшиеся спины и вывернул в желоб всю поглощенную во имя дружбы бормотуху. Потом пытался влезть в занятое такси, и так получил по переносице, что даже запомнил свою залитую кровью куртку... Надо сказать усилившаяся горбинка лишь придала его носу дополнительную аристократичность.

Рассказывал он об этом подчеркнуто буднично, как человек, решившийся держаться поближе к земле - тогда-то и обрели первостепенное значение лужи под ногами. Со сдержанным негодованием Мишка принялся допытываться, существует ли в конце концов такая обувь, в которой ноги остаются сухими. Я легкомысленно вздохнул: в нашем, мол, климате мокрые ноги, скорее всего, есть неминуемая участь смертного. Но Мишка - ибо речь шла не о пустяке, фантазии - проявил удивительную настойчивость: а в сапогах - скажем, у офицеров - ноги сухие? Он начал

обращаться к прохожим капитанам и полковникам - сапоги входили в вещевое довольствие - и в конце концов обзавелся-таки облегающими хромовыми сапогами, внезапно выявившими изрядную кривоватость его ног. В партикулярном платье при сапогах смотрелся он диковато, но мы уже привыкли к его научно обоснованной дури и лишь снисходительно улыбались. Но если человек твердо решил превыше всего ценить реальные удобства, он может возвыситься над условностями (то есть опуститься) до размеров социально опасных.

В своей и поныне неудовлетворенной страсти всех кругом женить Катька свела Мишку со своей школьной подругой Валькой - тонюсенькой блондинкой из сангига. Славка приучил меня обращать внимание на женские животы (он их терпеть не мог и, вероятно, именно поэтому выбрал обеих жен вполне в этой части представительных - Пузя так до сального лоска), и, однажды взглянув на Вальку сбоку, я поразился, до чего ее как будто и вовсе нету. Сначала все было мило, но она была живым существом и постоянно, следовательно, чего-то желала, производила шум, движение... Нет, не просто шум, не просто движение - бессмысленный шум, бессмысленное движение. Ведь жизнь - это излишество, освобожденная от дури, она уже не жизнь, а выживание. Вальке хотелось побольше радостей - Мишке поменьше беспокойства. Желание вполне законное, хотя он и здесь хватал через край. Валька обрадованно встречает его из командировки: „Мишик!“ - а он передразнивает ее мычанием: „Ми-ышик!“ Слезы, объяснения, примирение, объятия, докучные одежды отбрасываются прочь, юные тела готовы слиться... „Сейчас, минуто“, - что-то вдруг вспоминает Мишка и скрывается в ванной: начиная мерзнуть, юная супруга отправляется на поиски - молодой супруг стирает носки.

С прогулки Мишка всегда предпочитал возвращаться тем же самым путем - Вальке же постоянно требовалась новизна. Новая дорога заводила в тупик - это приводило Мишку в совершенно неадекватную ярость, вполне, однако, естественную для человека рационального, всегда ищущего наиболее простых путей.

„Любовь... Дурь все это“, - теперь с досадой отмахивается Валька. Есть мужик в доме - сопит, сморкается, бурчит, - чего еще надо? Все есть с кем словом... Верно. Но для нас, сладостраст-

ников, воображающих, что жизнь должна быть праздником, вместе с дурью ампутируется... Жизнь сурово нам платит за веру в нее. Когда Мишка, пользуясь недельной Валькиной отлучкой, упаковал все ее шмотки в два чемодана, кои и отвез в ее родительский дом, она чуть не свихнулась от горя. Руками разведешь: их брак казался мне нерасторжимым, оттого что у них уже выработался общий запас воспоминаний, шуточек – сказать про некрасивую девицу „на нее нельзя положиться“, выставить под стеклом блудливо косящего Ленина, которого Валька случайно изобразила на лекции...

Удалив от себя Вальку, Мишка продемонстрировал, как нужно обращаться с надоевшими фаворитами. Однако через некоторое время он обзавелся новой дурью – котенком. Но котенок, естественно, тоже причинял неудобства, и что-нибудь через полгодика Мишка упаковал его в полиэтиленовый мешок, перетянул резинкой и зашвырнул в одну из тех озерного размаха лужищ, которыми может гордиться каждая новостройка. Котенок, тем не менее, сумел выбраться из мешка и, мокрый, чесанул куда подальше. Поступок этот был настолько запредельным, что мог быть продиктован только каким-то принципом. Невольно уважаемый мною (как всякий принцип), звучал он примерно так: будь проще, ставь реальные цели и изыскивай для них наипростейшие средства. Катька же была убеждена, что действовал Мишка в состоянии временного умопомрачения – иначе знакомство с ним пришлось бы прервать. Следующим пунктом Мишке стали мешать родители – все, как всегда началось с точных определений: семья предназначена для воспитания детей – следовательно, когда эта задача выполнена... Мишка завел собственную кухню, „чтобы не обременять“ мать – спокойно-ироничную, украшенную вьющимися рыжими волосами, очень естественно гармонизировавшими с ее бледными веснушками и белыми ресницами, а также благородной легкой лошадиностью в лице, в которой всегда невольно видишь еще не вполне открывшийся миру стандарт красоты. „Хитрая“, – говорила о ней Валька, явно, по мнению Мишки недоговаривая последнего слова – „еврейка“. Хитрая еврейка и теперь сохранила снисходительное хладнокровие, но пылкий, не сильно забравший умом папаша, способный за завтраком внезапно заорать: „Сколько раз вам говорить, чтобы

не клали локти на стол!“ - и одновременно отдернуть собственный локоть, этот подернутый черным пухом по бильярдной лысине пузатый здоровяк, напоминающий какого-то знаменитого итальянского певца, похожего на разбойника, и действительно обожавший потрясать сердца собравшихся своим квазиитальянским тенором, недостаточно все-таки хорошим для публичных выступлений, - папаша был в ужасе. „Чем мы его обидели?..“ - буквально со слезами на черных индейских глазах взывал он ко мне, и мне оставалось только бормотать о Мишкином стремлении всегда быть последовательным, не смущаясь самыми странными следствиями принятого принципа... Простодушный потомок молдавских биндюжников, бывший метростроевец, а ныне сменный мастер в литейном цеху, папаша вслушивался с таким мучительным напряжением, что, кажется, даже кое-что понимал. (Более простое объяснение - бунт пай-мальчика, который слишком долго был слишком послушным - еще не приходило мне в голову.)

А Мишку тем временем начало возмущать, что у него нет отдельного угла, где он мог бы делать что хочет и приводить кого хочет. Он разузнал, что при жилконторах существует должность воспитателя - управляющего „центром досуга“ для болтающихся без дела подростков, - и что этому воспитателю полагается казенная „площадь“. Мишка отыскал нужную вакансию возле своей бывшей школы, где так недавно блистал, обо всем договорился - вакансия была не слишком соблазнительной - и отправился в свою контору просить досрочного освобождения (еще не минули предписанные молодым специалистам три года). Он начал со слезой заливать прожженной гебистской бестии, что его чрезвычайно угнетает секретность - он постоянно боится потерять то пропуск, то документ, не спит ночей... Старая крыса, естественно, не верила ни единому слову, но заявление продиктовала охотно: прошу меня уволить, потому что я очень рассеянный человек.

Так Мишка одним сапогом шагнул в завершающую мечту - отдельную площадь. Разумеется, сразу же выяснилось, что надо погодить, и он стал годить. Однажды я заглянул в этот его „центр“ - в задрипанную комнату, где за ободранным зеленым столом резалась в пенис (привет от Славки) полупьяная шпана. „Ребята, только не материться“, - время от времени уныло взывал

Мишка. Но для них было все равно что вовсе не разговаривать. В дверь просунулась злобная пьяная харя. „Дычадик здесь?!.“ - злобно прорычала она. „Я начальник“, - тревожно ответил Мишка. „Не дычадик, а Гын-ча-дйк!!!“ - взвившись до последнего градуса ярости, прохрипела харя. „А, нет Гончарика, нет“, - заторопился Мишка.

Вскоре он приехал в Заозерье с деловым предложением: я должен был зайти к нему в „Центр“ и вырубить одного окончательно зарвавшегося хама - но только непременно одним ударом, только это произведет нужное впечатление. Я смотрел на него как на окончательно рехнувшегося. Во-первых, с одного удара нокаут вообще редко удается, во-вторых, даже и он не всегда производит желательное впечатление на дружков „каутированного“, а самое главное, невозможно походя одолеть в борьбе, которая для твоих врагов составляет дело жизни. У подонков есть свои тараканьи углы, где они хозяева, и они готовы защищать их не щадя самой жизни - ты готов платить такую цену?

Как-то, не находя себе места с выворачивающего похмелья, пыльной холодной весной я забрел на невские задворки и у сидящей льяврни Кушелева-Безбородко встретил Мишкиного отца: он закрывал „беллютень“ после производственного ожога. С детской гордостью похваставшись мраморными лишаями на обеих руках, он принялся умолять меня как-то воздействовать на Мишку: ведь образование для того и нужно, чтобы иметь чистую работу, приличные знакомства... „Даже женщины у образованных людей лучше“, - с искательной игривостью пытался он подладиться ко вкусам молодежи, и я понял, что ни из-за каких исканий и разочарований так обходиться с близкими нельзя. Мишка еще давно с насмешкой отзывался о папашиных плотских страстях: когда после гепатита Мишке запретили острые блюда, отец тоже жертвенно отрекся от перцев и маринадов, без которых прежде не мыслил жизни. Да, с благоговением говорить о перцах и маринадах, может быть, и смешно. Но отказаться от своих - пускай смешных - высших ценностей, - это чего-нибудь же стоит?

Когда фантом „отдельная площадь“ окончательно раскрыл свою бесплотность, Мишка устроился в плохонькую „открытую“ контору - открытую даже евреям с подмоченной трудовой книжкой.

Проектирование систем автоматического управления релейным электроприводом вертикально-горизонтальных подъемников осуществлялось в алтаре, а их матобеспечение в ризнице. Мишка занялся презренным программированием с невозмутимым достоинством взрослого человека, для которого существует только польза, но не поза. При своем вкусе к скучным подробностям он, естественно, скоро сделался важной персоной, и когда он наконец заговорил об отъезде, солидность его тона уже была кое-чем обеспечена: рынок программистов в США (ему очень понравилось, как кто-то произносил „Эс-ша-а“) никогда не бывает полностью насыщен - как, скажем, рынок шоферов, в Эс-ша-а можно купить загородный дом, выписать любую книгу, приобрести для фонотеки каких угодно исполнителей, можно обзавестись даже собственным кино - Феллини, Бергман, Вайда, - не надо шустрить по фестивалям или по кассам элитарного „Кинематографа“ (мы из общежития вечно таскались на все подряд - лишь бы овечьянье хоть какой-нибудь аурой старины либо недоступности). Возразить, вроде, было и нечего. Родина? Что рационального можно было сказать в пользу этого фантома - Мишка давно посмеивался над нашей с Каткой привязанностью к русской природе (а что, в Канаде хуже?), к каким-нибудь колокольным звонам (можно взять с собой пластинку, в конце концов), даже к священному „Борису Годунову“ священного Модеста Петровича Мусоргского (ну да, гениально, но не гениальнее Бетховена - да и того вполне можно слушать за пределами Германии). Церкви новгородские хороши - кто спорит, но почему из-за них нужно отказаться от Кельна, Рима, Пестума, Луксора? На улице он мог вдруг поморщиться от какой-то очень уж бесхитростной физиономии: „Ну тип...“ Хороший мужик, заводился я. - „Я знаю ты любишь русский народ“, - хмыкал он. Он был прав - я мог злиться на Россию, в какой-то миг даже ненавидеть ее, как Катку, но расстаться навсегда... Возможно, мне нужна была иллюзия единства с чем-то вечным, но одна только мысль, что мои дети будут говорить по-русски с акцентом, приводила меня в ужас. Быть может, именно этот ужас Мишка истреблял в себе, все оттачивая и оттачивая невозмутимость и расчетливость. Валька, случайно встретившаяся с ним на улице, растерянно жаловалась, что первый его насмешливо-снисходительный

вопрос был: „Ну что, ты меня ненавидишь?“ - „Почему, мне просто обидно, но...“ - „Знаешь, как я теперь живу? Все по расписанию. Встаю в семь пятнадцать. Сначала иду в туалет по мелочи. Потом чищу зубы, умываюсь, потом пью кофе. Потом иду в туалет по-крупному...“ - „А почему не наоборот? Сначала по-крупному, а потом кофе?“ - „Если бы я так мог, я был бы счастливым человеком“. - „Знаешь, - подумав сказала Валька, - кажется я тебя действительно ненавижу“.

Однако, подавши заявление на выезд, Мишка пригласил на отвальную к нам в Заозерье и Вальку. Он напился, плакал, что ужасно любит русскую литературу, Катька тоже плакала, Валька тем более, и провожать ее на последнюю электричку отправился я. Потный бледный Мишка тоже рвался с нею, но я удержал его неотразимым заклинанием: хочу завтра с ним проконсультроваться по одной интересной задаче. Формулой „Интересная задача“ нас можно было поднять из гроба. Вздвинутый водкой и великолепием трагического расставания среди снежного бора в отсветах станционных фонарей я оказывал Вальке такие королевские почести, что, кажется, сумел несколько растворить ее горе в совместном экстазе. Возвращаясь к своему барaku (внезапная мучительная нежность к ждущей меня паре горящих окон), я увидел, как Мишка в одних трусах выбежал на крыльцо и мощно блевнул в голубой сказочный снег, - это было последнее откровенное выражение его чувств, которое я наблюдал. В дальнейшем он держался со снисходительной невозмутимостью обладателя какой-то окончательной истины - скорее всего, той, что мокрое есть мокрое, а сухое есть сухое независимо от пьесы, участниками которой нам вздумается себя вообразить. Изредка перезваниваясь с Валькой, однажды скучающе попенял ей, что она слишком уж бурно на все реагирует: он вот понимает, что впереди его ничего хорошего больше не ждет, но из этого вовсе не стоит делать трагедию.

Нам он о себе рассказывал как о довольно забавном и симпатичном, но все-таки постороннем субъекте. В выезде ему, рассеянному хранителю государственных тайн, изучившему все дуги на глобусе, было отказано; отказники включили его в свою общину, он участвовал в их манифестациях, всячески давая нам понять,

что делает это исключительно из практических, но отнюдь не идейных соображений. Они то что-то подписывали, то в какой-то еврейский день собирались в столовой „Лукоморье“, где немедленно гаснул свет, и очень вежливый майор милиции просил всех в связи с аварией освободить помещение, а они все сидели, ели бесплатный хлеб со столов и что-то такое пели (слова в еврейском гимне, морщился Мишка, очень плохо укладываются в мелодию, все время надо тянуть: áа, áа). Потом его вызвали в Большой дом по делу Щаранского, о котором он ничего не знал, но, получив детальные инструкции от собственного юриста, вдоволь поизмывался над кротким следователем по фамилии Степанов: не стал при входе открывать сумку - оказывается, вахтер имел право расстегнуть молнию только при наличии ордера на обыск, - потом битый час не желал назвать свое имя и фамилию, пока наконец в кабинет не ворвался другой следователь по фамилии Медведев (какие чудные фамилии - Медведев, Степанов...): да вы понимаете, где вы находитесь - вы в ОРГАНАХ!!!

Но Мишка все равно довел до конца положенные измывательства над горестным Степановым („Михаил Борисович, зачем вы это делаете?.. Я же знаю, кто вас инструктирует!..“), да еще и написал собственный протокол, который, разумеется, запрещалось выносить из здания, но Мишка прямо на глазах Степанова засунул его себе в штаны, поскольку залезать в штаны разрешалось только с санкции прокурора. Я улыбался с натяжкой: я не люблю издевательств даже над самой последней сволочью, если в эту минуту у нее связаны руки. Тем более, что глумления лишь укрепляют ее в праве на сволочизм: они же, думает она, со мной не церемонятся, когда верх ихний.

С бабками у Мишки обстояло неплохо: с работы его почему-то не выгнали - только осудили на профсоюзном собрании, - при своих лингвистических дарованиях он скоро сам начал преподавать иврит и заработал аж на тачку. Да еще ему, как и прочим, присылали из Америки серые плащи и бурые свитера, которые он реализовывал через комиссионку, презрительно недоумевая, кто их соглашается носить. Себе он оставил только морозной пылью серебрящуюся искусственного меха шубу до пят да высокую боярскую шапку - с канонической бородой он был вылитый боярин из

„Бориса Годунова“, тем более что невозмутимость его к этой поре перешла в величавость. Однажды поздно вечером – „Слушай, друг, не знаешь, сколько время?“ – его окликнул пьяненький мужичок, тут же одернутый спутницей за рукав: „Ты что, не видишь, кто это?“ Мишка рассказывал об этом эпизоде с глубоким удовлетворением. Общался он, походило на то, с одними отказниками до сочувствующими американками, готовыми иной раз и перепихнуться; для них это знак дружеского расположения, неспешно пояснял Мишка, и Катькино лицо принимало выражение брезгливого непонимания: животные какие-то... Мишка и рассказывал о них тоном зоолога: вот эта Джейн (предъявлялось цветное фото – хваленая жирная шея, губастый оскал Моники Левински) – учительница русского языка в штате Мэн, любит горные лыжи и парашют, не знает Баха. „Как не знает?..“ – „Не знает, что был такой товарищ. А зачем? Она убеждена, что живет в раю, а рай такое место, где все уже есть“. Мы с Катькой презрительно переглядывались: вечная неудовлетворенность у нас считалась первой добродетелью.

А потом Мишка внезапно исчез – как отрезало, хотя на новую квартиру он помогал нам перебираться с большим энтузиазмом. Стороной мы выяснили, что в тюрьме он не сидит, работает все там же, и гордая Катька не велела мне проявлять дальнейшую активность: пусть как хочет. Но через два-три года мы случайно встретили его в трамвае, и он – уже при одних только латиноамериканских усах – сиял как младенец: все-таки не совсем врал, однажды по пьянке с ухмылкой признаваясь нам, что мы с Катькой – единственные люди, которых он любит. Мишка повторял, что надо повидаться, записывал наш новый телефон и – снова канул. А еще через год-десять Славка написал нам, что Мишка „адаптируется“ в Питсбурге. Обзавелся ли он, интересно, собственной кинотекой или уже и кино превратилось в пережиток детства? И я вот с тех пор дорос до унылой истины: даже самые гениальные книги, симфонии, фильмы не более чем потребление. Но насытить нашу жизнь смыслом может только то, что мы отдаем, но никак не то, что получаем.

А ведь мы с Мишкой когда-то были похожи как никто – в книгах, фильмах видели одно и то же, а что может быть важнее, чем

идентичные формы самоуслаждения. Я разве что был более снисходительным и терпеливым. И этот вот пустячок в конце концов разлился между нами Атлантическим океаном...

Хух-х! По Малому солнце шпарит в глаза, как... Старинный Славкин каламбур: пойдём по Большому. Но все-таки видно, что чем ближе к Смоленскому кладбищу, тем меньше всяких panasonic - старые добрые „продукты“, „автозапчасти“, „обувь“...

И будет. Орган, именуемый „Мишка“, перетягивается заново для дальнейшего отмирания. В конце концов, мне тоже нужно адаптироваться в Петербурге. Слойку хотя бы жевать подольше, пропитывать слюной. Вот так же с булкой за щекой я и шагал из Горьковки к общежитию по родному микроленинградику, но мозги в тот день у меня трещали от напряжения из-за „Общественного договора“ Ивана-Якова де Руссо. Как же общая воля может существовать всегда, если люди так часто только и ждут случая проехаться друг на друге? Ага, вот в чем суть: наши чувства, мнения бывают двух совершенно разных видов. Одни - наши личные, мы их приобретаем, меняем, но даже в момент самой сильной захваченности в глубине души чувствуем, что они наша личная собственность: я рассердился, я могу и простить - мое дело. Но есть в нас чувства, убеждения совершенно другого рода - их мы не ощущаем своей собственностью: оскорбили твою мать, твой народ, Толстого, логику - ты-то лично, может, и наплевал бы, но чувствуешь, что не имеешь права, это и есть святыня - то, что хранится в твоей душе, но тебе не принадлежит, ты получаешь ее по наследству и по наследству же передаешь дальше: вот эта, не зависящая от тебя решалка в тебе и есть общая воля. Свою частную волю мы переживаем со страстью, а общую - с благоговением. Это благоговение в себе люди и называют присутствием бога. То есть не религиозные чувства происходят из бога, а наоборот - бог из религиозных чувств, - открытие кажется мне настолько потрясающим, что я немедленно решаюсь посвятить ближайшие годы разработке всех его следствий - воссозданию атеистических аналогов всех этих отмерших понятий: „бог“, „душа“, „святость“... „Вечность“...

Неужели это был действительно я? Чем же я был так пьян - просто молодостью? Или каким-то иным наркотиком? Может быть,

неразличением возможного и невозможного, которое только и открывает дорогу к великому? Может ли вообще человек прожить без наркотиков? Но что об этом толковать - опьянеть сознательно уж во всяком случае невозможно.

Опять „невозможно“... Хотя я теперь и знаю, что твердо различать возможное и невозможное - это самоубийство, даже красота есть намек на что-то невозможное, - честность все равно не оставляет мне иного выбора. Честность - это всеобщность: я признаю лишь такие доказательства, которые убедительны для всех. Хотя, опять-таки, и знаю, что для всех разом очевидным бывает только сверхпримитивное: сухие ноги лучше мокрых.

Ба - угол Шестнадцатой линии, фанерные бельма, - а как любила Катька здешние рассыпчатые, бесконечно плоские пироги с лимоном! А там, где сходятся трамвайные пути, маячит еще один тархтящий автобусный проспект корейского КИМа промеж двух осененных издыхающими кронами кладбищ - нашего и армянско-лютеранского, ведущий в недра таинственного в своей провинциальности - ясно же, что такого в Питере быть не может! - Голодая Сони Бирмен... Перелетая туда через дегтярную Смоленку, можно слева углядеть и громоздкие кладбищенские ворота, на которых с каким-то внутренним онемением я некогда прочел, что сказочная Арина Родионовна где-то там меж невысоких крестов затерялась... И там же я диагностировал Славку в качестве дурака. У гробового входа.

И снова дрогнула только что прихлопнутая, перетрепанная за сегодняшний вечер струна: завод имени Котлякова - последнее, так и недогнувшее Юру ленинградское иго. Милосердная милиция за тунеядствующее нарушение паспортного режима вместо тюрьмы отдала его в лимитчики. Вот он стоит перед мутным зеркалом у вахты меж двух унылых сержантов - напудренно-бледный, но нижняя губа по-прежнему надменна.

Лимитная прописка в первый миг была спасением. Но в третий - мучительнейшим испытанием, лишенным главного оправдания - трагической красоты. Завод имени Котлякова был настолько зауряден своей кирпичной оградой, кирпичными корпусами, похожими на коровники, что даже дореволюционные цифры „1915“

на одном из них не могли вывести это унылое скопление из разряда советского. А уж бесконечный панельный цех, нависший над кладбищем... Юра́ был пра́в, что уехал в Магадан - снимите шляпу, снимите шляпу. Не знаю, сумел ли он сохранить свой фантом у охладившего немало романтических голов Охотского моря, но я, траченный молью оплывший Фортинбрас, избравший дело, а не дурь, отсалютовал своей сломанной, переделанной в мухобойку шпагой перед Юриной мемориальной доской - новенькой чугунной плиткой „Акционерное общество „Эскалатор““.

Где-то слева должен быть стадион - по сияющему зеркалу ночного катка с рыком мчится на нас кудлатая черная псина... Стадион погребен за новым зданием - слепящее стекло, крыша гармошкой, - Райт, мгновенно вообразил бы я. Воображение доставляло мне массу кайфа и массу страданий, пока я его не придушил. Во имя дела - во имя чести, разума, всеобщности. Я не гордился умом - я служил ему. А он оставил меня в исподнем на морозе, как ловкий попутчик в поезде. А глупые мастурбаторы, огораживающие локтями неприкосновенный запас своих глупостей и лжей, сохранили свои шубы при себе: люди с убеждениями предпочитают сами раздевать соседей. Эти романтические ахи, что паровоз спугнет русалок, что скальпель вместе с аппендиксом удалит и душу - каким идиотизмом это все казалось! Да и сейчас я ничуть не сомневаюсь, что наука должна нас кормить, лечить... Но обращаясь к миру наших чувств - в психологию, в социологию, она превращает нас в одну из железяк. Десакрализуя все фантомы, она оставляет несомненными лишь такие очевидности, как „сухие ноги лучше, чем мокрые“. Наука никогда не воссоздаст рациональные понятия бога, души, святого, вечного, а лишь разрушит их окончательно. Заставить ее исполнять наши желания, но не разрушать животворные иллюзии - это будет потрудней, чем оседлать термоядерную реакцию. Выявляя причины наших желаний, наука неизбежно рождает соблазн не добиваться их удовлетворения, а устранять их причины - это и есть общая формула наркомании.

Или это я уже хватил? Стоп, справа сейчас... Но вместо саженного щитового забора взгляд ухнул в бесконечность - запущенную, неряшливо заросшую, захламленную бесконечность сравнявших-

ся с землей могил, покосившихся и вовсе упавших ниц и навзничь крестов: какой-то рыцарь истины из городской администрации решил открыть нам правду о нашем будущем, заменив трухлявый забор благопристойной металлической решеткой, мы-то, впрочем, и не нуждались в заслонах: мы сами через проломы лазали на „Смоленское“ загорать с конспектами, играть в волейбол, целоваться, - я сам не раз целовался на мраморе одного знакомого статского советника - с Катькой в том числе. Там, за чересчур разросшимися на этой перекормленной земле деревьями, поближе к церкви начинались надгробия вполне респектабельные. А у пирамиды погибших солдат Финляндского полка я всегда останавливался с глубоким почтением - не к их гибели, к подвигу Халтурина. Может, он был и неправ, но он же действовал во имя прекрасного фантома! Такие вот они, фантомы. Как все на свете: с ними опасно, - без них невозможно. Никому. А всем вместе - тем более.

Нет, не хочу я смотреть в глаза этой кладбищенской правде - пусть лучше слепит неутомимое солнце. И поостроже следить за глубиной - а ну?! - чтобы не хлынула через край мертвая тоска. Но на этот последний уголок - волейбольный, вытопанный еще пуще прежнего - взглянуть все-таки надо. Ладные парни, мы играли на майском солнышке в спортивных трусах; Славка, привычный к мячу, играл лучше, зато я, как в любой игре, себя не щадил, брал любые мячи с риском что-нибудь сломать. У Славки ноги были чуть короче, а плечи чуть шире, но Катька считала, и уже решалась об этом, о телесном, мне говорить, что я изящнее. Она смотрела на меня, блаженствуя на притоптанной могилке, подстеливши газету.

Очень скоро мы со Славкой будем провожать ее на каникулы к белорусской родине, а мы с Катькой перед разлукой смотреть друг на друга с такой серьезностью, что Славка, крикнув от досады, рванет вперед, перекосившись от Катькиного чемодана, и его совершенно идентичные моим расклешенки с широким, как тогда полагалось, поясом и горизонтальными карманами будут мотаться на зависть любому жоржику. Мы так ни разу и не прикоснулись друг к другу, и лишь когда проводник Хароныч провозгласил роковое „Провожаящим покинуть вагон!“, Катька смущенно дотрону-

лась пальцем до кончика моего носа. А я вдруг спросил адрес ее родни - мир тесен, кто знает...

На обратном пути мы со Славкой почти не разговаривали. Но назавтра все пошло как обычно. Внешне. Однако неугасимыми белыми ночами, пометавшись на поющих пружинах, я, не дожидаясь раздраженных просьб уняться хоть на минуту, выпрыгивал в окно умывалки и, с трудом сдерживаясь, чтобы не перейти на рысь, устремлялся к свеченью вод - к заливу, к Неве, кротко плещущей в тиши под ступенями Горной академии, где оторванный от земли Антей, издыхая, давал бесплодный урок всем будущим мастурбаторам... Черета судов, доки, ужасно земные пачки бревен на палубах низких сухогрузов, целующиеся парочки, дремлющие бичи, бредущая невесть откуда розоперстая шпана, одноногие и двуногие оборванцы, - все эту чистоту и нечисть даже перекрашивать не требовалось - ее вполне мог преобразить и домысливаемый контекст.

Пожалуй, что и все наши возвышенные чувства - потрясение, благоговение - порождаются не реальными предметами, этими песчинками в раковине, способными вызвать разве что ощущения комфорта и дискомфорта, - возвышенность порождается воображаемым контекстом, в который вещи незаметно для нас погружены. Самое простое: человек со шрамом. Если нам скажут, что он заработал свой шрам в кухонной драке - мы видим это лицо одним, в Чечне - другим, в застенках инквизиции - третьим. А если ничего не скажут - каждый все равно поместит его в свой личный контекст, который, сам того не замечая, как запах, носит на себе. Подлиннные властители народов - те, кто создает опьяняющий образ мира, тот всеобщий контекст, который, не меняя ни единого предмета, запросто превращает мир из храма в мастерскую, из мастерской в базар, из базара в драку или химический процесс, и ни один из контекстов не доступен зубам научного анализа: только когда он почему-то перестает одурманивать нашу глубину, которая, кроме опьянения, ничего не хочет знать (в глубине души все мы наркоманы) - лишь тогда гиенам логики удастся додрать издыхающего Левиафана. Властвуют над миром те, кто пьяняет его, заставляя людей забыть будничную расчетливость. Наука сама долго была таким пьянящим фантомом, - пока не

разрушила свой контекст, внимательно исследовав его наготу. Таков наш удел: ставить свои иллюзии безоговорочно выше реальности - сумасшествие, ставить реальность безоговорочно выше иллюзий - беспросветность. Вот так мы и колеблемся между безумием и смертной тоской.

В неясном контексте, дурманившем меня в то лето, стипендиальную комиссию было просто не разглядеть, так что староста, может, и правда не терял мое заявление: раз уж я не пожелал для надежности остаться в Питере еще на один день, то мог и не отдать ему эту пустяковую бумагу. Целый семестр я забавлялся тем, что кормился серым хлебом с пареной на сковородке капустой - надо было беспрерывно брызгать на нее водой, чтоб не подгорала, - а раза три-четыре в неделю без билета ездил в Катькину туббольницу доедать ее непомерную пайку: в литровой банке она выносила в вестибюль куриную ногу, пяток кубиков масла, селедочный хвост... Хлеб шел без ограничений.

Но это уже лютой зимой, когда я в тонюсеньком пальтишке отплясывал в тамбуре, высматривая контролеров - летом я выглядел куда эффектней, позвонивши в дверь Катькиной родни загорелый, как эфиоп, в выгоревшей пыльной бороде и линялой ковбойке, на которой были заметны следы всех ночлегов и разгрузок, поскольку стирал ее исключительно Илья-пророк своим кропилом. Вероятно, по мне было заметно и то, что я не видел в мире ни единой вещи, которая стоила бы забот и тревог: кончаются бабки - так всегда где-то на путях стоит неразгруженный вагон с углем, щебенкой или ботинками, где-нибудь под сараем свалены неколотые дрова, а на худой конец кусок хлеба на полдня тебе и так везде отвалят - в жизни нет ничего страшного или унижительного, если смотреть на нее как на приключение.

Но, наверняка, по моей приподнятой осанке невозможно было догадаться, что я целых две недели спал с продавщицей кирпичного магазинчика под Киевом - точнее, спать она уходила домой, а я отрубался в тяжкий бормотушный сон на тех же самых пустых мешках. Напивался я, во-первых, потому, что так полагалось, если ставят, а, во-вторых, чтобы отрезветь от иллюзорного контекста, не допускавшего интимных контактов - особенно поцелуев с хрюшкородной, нечистой на руку и все остальное хамкой. К третьему

стакану я дурел, мешки, ведра, ящики становились диковато-нелепыми и вместе с золотыми зубами моей сообщницы превращались в воровскую малину (все не будничная реальность, как она есть), и я уже без зазрения мог заваливать ее по-хозяйски, как беглый каторжник, которому трижды плевать, что каждого еврея она встречала певуче-радостным вполголоса: „Миша!“

Похмелье будило меня часов в пять, я выходил на берег, тупо дивясь, наколько мне не интересен дивный восход, с ржавого корыта пловучей пристани нырял в перехватывающую дух глубину и там глотал холодную и чистую, как мне казалось, воду с большой осторожностью: в детстве меня напугали, что под водой пить нельзя - утонешь. Выныривал я уже далеко, с трудом догребал обратно - течение было очень быстрое - и, согреваясь размиочными движениями, спешил досыпать все еще утилитарно, ничего вокруг не замечая. Зато, когда я отсыпался, по мере протрезвления оьянение снова возвращалось ко мне: я не мог даже читать - уж до того реальность была ослепительнее любого вымысла.

Каткина родня не сразупустила меня - я слышал какие-то встревоженные переговоры, а потом вдруг выбежала самая настоящая ошалелая Катька во всегдашнем своем (единственном) статном летнем сарафане. Она чуть было не бросилась мне на шею, но в последний миг засмушалась и только положила мне конфузливую руку на плечо.

Из Литвы мы извлекли вдсятеро больше кайфа, чем какой-нибудь дворянский сынок из всех святых камней Европы вместе взятых: обомлелые, мы тихонько обходили костел святой Анны в Вильнюсе куда более потрясенно, чем я пару лет назад кельнский собор. Ночевка на стройке под негнущимся одеялом двери, - я ни разу даже не помыслил до нее дотронуться: мы только говорили, говорили, говорили - сливались, так сказать, душами, стараясь показать, каковы мы не в делах, а на самом деле: в мечтах, в фантазиях, ибо нельзя же назвать реальным тот мир, из которого изгнано все мелкое, жестокое, грязное, неоднозначное. В главный, фантомный мир не попал тот слишком человеческий факт, что Каткин отец, во цвете лет (в наши нынешние годы) разбитый параличом, семь лет умирал в одной комнате на пятерых, с чужой

помощью „ходил“ на ведро, отчего весь дом был пропитан парашей, и Катька с утра до вечера тщетно старалась отскоблить этот дух - в чудовищной, невообразимой нищете. Мать-сердечница, приходила с ночных дежурств в кочегарке серая, как ее ватник, и Катька старалась все делать сама: окучивать картошку, топить печь, таскать воду, доить козу... Временами на отца накатывали приступы безумия, действовавшей рукой он швырял, что подвернется, - годами никто не мог заснуть спокойно: можно было в любой момент быть подброшенным грохотом опрокинутого ведра, звоном стекла - у Катьки до сих пор виден рубец от трехлитровой банки...

Но ничего этого даже не брезжило на аванпостах наших внутренних миров - мы и вообще-то больше исповедовались по части совсем уж чистопородных фантомов: Печорин, Гамлет, князь Мышкин, Коврин из „Черного монаха“... А Гарри из „Снегов Килиманджаро“!.. От одного эпитафия спянуть можно - эта божественная многозначительность: что понадобилось леопарду на такой высоте, никто объяснить не может... Сказали бы мне тогда, что через двадцать лет я буду раздраженно пожимать плечами: если знаешь, что сказать, скажи ясно, а не можешь - молчи. Завет Москвы. Стимулировать фантазию - самую важную вещь на свете - казалось мне чистым шарлатанством. Я изгонял из жизни все, чего нет, и когда Катька не в лучшую нашу пору, однажды на минутку размягчившись, вдруг пустилась в воспоминания о той волшебной - даже не поездке, полете (совсем не помню колес у нашего транспорта и с трудом-с трудом припоминаю сиденья), - я ответил, что почти все забыл, и у нее просто губы затряслись: „Ты и это хочешь у меня отнять!“ „Как можно отнять то, чего нет? - пытался вразумить ее я. - Было, не было - какое это имеет значение: сейчас же этого все равно НЕТ!“ Нет... Для моей глубины все всегда есть.

Пожалуйста, полюбуйте: две сестры-горгоны, в крепко настроенной халупе, которых мы устроили, новую Семьдесят четвертую в резиновых сапогах колхозной осенью вблизи набоковских мест, о коем обстоятельстве нам суждено было узнать лет через двадцать. Бабки начинали ругаться уже часов с восьми, жалея керосин, но я обнимал их за горбы, вел к столу, щедро наливал гадостной

водяры, которую я пил, не морщась, зато Славка передергивался как младенец... Могу вызвать из небытия и Катькины желтые штаны с молниями вдоль щиколоток.

Мы с Катькой уже всюду целовались под копнами, но это меня еще не возбуждало (зато потом крепко подсел). Однажды я даже бестактно поддразнил Катьку насчет ее разгоряченности, и она обиженно ответила, что в ней, возможно, снова разыгрался „процесс“. В ее рассказах - без лишних слизистых подробностей (неотселяемый чахоточный сосед при общей кухне) - когда-то просвечивали „очаги“, завершившиеся туберкулезной больницей, но поскольку это не имело отношения к главной реальности, я про это забыл. К врачу катить она не желала: семенящая жирная такса Моськина из университетской поликлиники уже отказалась дать ей освобождение - как же, идет Большая Картошка! Ни малейшего опасения я не ощутил, и целоваться продолжал, не думая о палочках Коха - меня возмутило оскорбление фантома - Права. Я увлек Катьку на станцию и по привычке усадил на тормозную площадку (она пряталась от ветра очень серьезно, впервые соступив с тропы добродетели и законопослушания). Рентген обнаружил новые очаги, но Моськина здорово притворилась, что не чувствует ни малейшего смущения.

Мы проявляли беспокойство только потому, что так полагалось, и куда Катька добралась до царскосельской туббольницы, успело произойти много событий („Развратный мальчишка“, - ласково укоряла меня Катька). В полутемном гулком вестибюле мы со значением попрощались за руку, но, конечно же, эта мрачность лишь готовилась оттенить будущий триумф. Я был изрядно удивлен, узнав, что от туберкулеза до сих пор умирают не только у Ремарка.

Катька в ушитых пижамных штанах бегала через ступеньку и с двумя перехваченными аптечными резинками рожками из остриженных волос выглядела очень оживленной. Но главврачиха быстро распекла ее за то, что со второго этажа было видно, как мы целуемся в нагом вороньем саду. Катька, роняя слезы, обещала больше так не делать. „И зачем вы ушили пижаму - расшейте“. - „Разошью“, - покорно повторяла Катька. Я был в бешенстве от стыда и бессилия, но сумел подчиниться реальности. Зато, когда

выяснилось, что Катька беременна, все медсестры приняли в нас живейшее участие.

Катька теперь часто мне напоминает, что я не хотел жениться - иногда с состраданием к моей погибшей молодости, а если придется под настроение, то и с обидой. Однако у меня даже тень помысла после всего этого взять и исчезнуть вызывала почти мистический ужас, словно перед убийством. Но что было, то было - однажды я вдруг перепугался, что женитьба помешает мне совершить кругосветное путешествие, и бесхитростно предложил Катьке не спешить, чтобы мы оба успели сделать по два-три добрых глотка свободы: вот вернусь и...

Во Дворце бракосочетаний у Катьки из-под ее пальтишка открылся бурый байковый халат - морозные перроны и заледевшие электрички были не для чахоточных дев. Снизойдя к нашему бедственному положению, нас обвенчали без испытательного срока. Добрые сестры все равно убедили нас сделать аборт: ребенок, мол, наверняка испорчен горстями Катькиных лекарств - помню какой-то „паск“, который полагалось запивать молоком... (Избавлялась она от нашего первого наследника в том же самом звонко-кирпичном роддоме на Четырнадцатой, откуда я, сжимая ритуальный рубль, впоследствии получал ее с атласным свертком на руках. А из-за ее спины под руку с расстроенным молодым парнем проскользнула опухшая от слез девушка без конверта - и растаяла на многие годы.) Но опьянение еще держалось - казалось, и это все еще не всерьез...

Ага, вот она, реальность во плоти: справа трамвайное кольцо, слева бензоколонка... Отчего-то я задерживаю взгляд на все той же марганцовочной почте, прежде чем взглянуть в лицо выходцу с того света, всплывшей Атлантиде, возвращенному Эдему...

Языки копти по ирреально родным стенам цвета бачкового кофе, и по этому разбавленному не-испить-ли-нам-кофию, словно вышибленные зубы, черные дыры, дыры, дыры, дыры... Ни одной даже рамы. Подальше, влево у бетонного крыльца по вечерней пыли какие-то восточные люди бродят вокруг бесконечного прицепа с откинутым бортом, открывающим многочисленные желтые дыньки, выглядывающие из мятой соломы. С этого крыльца сбегали Катькины полненькие ножки в войлочных ботиночках навстре-

чу замершей в морозной ночи Скорой помощи. „Какая шустрая мамочка - так нельзя!“ - пожурила Катюку немолодая медсестра. В общежитии я почему-то рассказал, что Катюка уехала в Заозерье, а когда в фанерной клеточке на свою букву я наконец обнаружил Катюкин бумажный треугольник, я почти не понимал, что читаю. „Малышка вылитая ты“, - но ведь малышками иногда, кажется, называют и мальчиков?.. А назавтра нового письма почему-то не оказалось, и я с чего-то решил, что дочка умерла. Я не ощущал никаких теплых чувств к ней - я вообще ничего не чувствовал, но тут, бредя по снежному месиву, едва удерживал слезы. „Вылитая ты“, - одними губами повторял я в отчаянии, хотя в принципе не видел в этом сходстве большого достоинства. Но это была все-таки какая-то индивидуальная черта. Зато узнав, что все в порядке, я прислонился к стене и несколько секунд простоял с закрытыми глазами.

К появлению жены с ребенком я впервые в жизни сам заново заклеил окно и вымыл пол до корабельной чистоты - из угождения какому-то фантому: гигиена такого скобления, на мой взгляд, не требовала. Коричневая, как после йода, дочка, однако, ухитрилась орать до помидорного глянца. Катюка кидалась к ней, не отличая дня от ночи и уважительные причины от неуважительных. В общежитии гулял грипп, и нужно было стараться, чтобы народу у нас толкалось поменьше. Но мы так долго были такими гостеприимными... Недели через две у дочки поднялась температура (градусник торчал из-под крохотной ручонки неумолимый, как кинжал), ее рвало... Сначала разбавленное молоко изливалось из ротика вяло, как из опрокинутой бутылки, а потом ударило шампанским - на обоях надолго остался кривой ятагановый след.

Пневмония, ночная Скорая требует неукоснительной госпитализации - потерянные, мы трясемся в темном фургончике над ледяными клеенчатыми носилками... Фабричного кирпича темная больница где-то близ Ахерона - за Черной речкой можно было разглядеть могильные оградки с обведенными белой каймой крестами...

Даже и не помню, когда я переродился в того сверхзаботливого папашу, которым меня знал свет. Во всяком случае, я и после больницы чуть не год все не мог собраться в загс за свидетельством о рождении, а когда тамошние тетki на меня накнулись, просто-

душно объяснил: девочка, мол, слабенькая, выживет, нет ли - я и решил подождать, чтоб не ходить два раза, зарегистрировать сразу и рождение, и...

Славка обо всем расспрашивал с обычной своей милой круглоглазой любознательностью, хотя в свое время, узнав, что мы с Катькой собираемся пожениться, растерянно спросил у нее: „А как же я?..“ „А ты женись на Татьяне“, - находчиво ответила Катька, чего до сих пор не может себе простить: „Дура двадцатилетняя!“. Какая гордыня, осуждаю ее я, уж прямо так тебя Славка и послушался. Но вот что человек, невольно ищущий замены чему-то утраченному, являет собою легкую добычу... Не помню уж, почему мы со Славкой и Пузей в тот вечер поддавали втроем, без обычной толкотни; я уже отправился спать, но потом зачем-то вернулся - как сейчас вижу Славкину голову на подушке в полумраке. Даже не знаю, что я почувствовал, но я вдруг ткнул в его зеленое дерюжное одеяло, и оттуда захихикала Пузя.

Я свободно мог бы вспомнить и в какой из черных дыр, не выпускающих на волю света, это было, но от искусственного напряжения меня начинает мутить. Я вперяю в черные прямоугольники грозный взор шарлатана, умеющего взглядом исцелять рак и передвигать поезда, и - окна с еле слышным треньканьем затягиваются стеклами, за ними вспыхивает свет, клавиши паркета разбегаются по всем углам ксилофонной трелью - остается плюнуть и растереть их мастикой, отчего они в иных местах (Семьдесят четвертой) обретают прямо-таки гранатовую глубину. В общих кухнях начинают теплиться неугасимые ради экономии спичек голубые газовые лампы, жирные дюралевые баки вспухают объедками, приподнимая набекрень крышки, худой носатый венгр со своей венгеркой, оба блеклые, как моли, принимают вдвоем целый вечер варить одну сосиску, приближаются оба негра - один тонкий, пепельный, отрешенно колеблется в недосыгаемой вышине, другой небольшой, очень черный, порывисто улыбается всем встречным. Скользит крошечная вьетнамочка, легкомысленно распевая „мяу-мяу, мяу-мяу“, покуда ее хрупкий вьетнамец черным глазом подглядывает через сточную дыру в подвальном душе за нашими невероятно, должно быть, в сравнении с их заморышами пышными девицами, но они заслоняются лопатой.

А вот еще забредший к нам Мишка поскользывается на мутной плеве нерастертой мастики и не больно, но „громко“ стучается головой о масляную зелень сухой штукатурки - сам я этого не видел, но Мишка обожал изображать себя в дурацком виде. Вот и в комнате он немедленно начинает живописать, как только что по ошибке зарулил в женский туалет и был захвачен там на полусогнутых с полуспущенными штанами. „Очень некрасивая поза“, - со вкусом подчеркивает он. Раньше бы он сгорел со стыда, но теперь большинство условностей осталось у него позади. И кому бы из нас, умников, хоть померещилось, что избавляться от условностей означает деградировать, целиком переходить под власть физически приятного и физически неприятного. Под власть реальности, как она есть...

Из всех нас только Юре перевалило за двадцать, но мы чувствуем себя ужасно взрослыми, только лучше: настоящих взрослых жизнь уже загнала - иногда во вполне достойные, но все-таки четко очерченные загончики. При желании я могу разглядеть каждое лицо, каждый жест, расслышать каждый голос - хотя бы и вечно напевающего Родзянко („Поет Родзянко за стеной веселым дискантом“).

Женька, сверкая угольно-желтыми глазами, делится опытом, как удобнее всего стащить с партнерши трусы, не выпуская при этом ее верхней половины: лучше всего это делать ногой (если ты, конечно, босиком) - можно даже, потренировавшись, отбросить их за пределы досягаемости. Трусы вообще занимают в Женкиной жизни видное место: „Она положила мне голову на колени, а у меня брюки в шагу разорваны, и трусы две недели не менял“, „Ей еще шестнадцати не было - я подумал и вдел в трусы бельевую веревку. Потом зубами хотел развязать - не мог дотянуться“.

Что-то все глупости всплывают из глубины... Но умное-то было еще вдесятеро глупее.

Прежде всего дело, а не фантазия, физиология, а не психология - я с большим почтением слушал сухонького, в огромных для него очках Колю Зорина (лет через пять умер в Челябинске-70), сосредоточенно похаживающего, глядя под ноги, вдоль наших двухэтажных кроватей (так оставалось больше места для танцевобжиманцев, а кроме того, на нижней кровати, завесившись одея-

лом, было очень удобно целоваться): человечество не может себя уничтожить, потому что природа стремится увеличить энтропию, а лучшего органа, чем человек, для этого не найдешь. Конечно, свою жизнь человек стремится сделать все более и более упорядоченной, но для этого ему приходится все больше и больше разрушать порядок в остальной вселенной. Сейчас-то все эти редукционизмы (преступность из энтропии, красота из здоровья) представляются мне формами профессионального идиотизма, но тогда это была вершиннейшая из вершин! В упоении этой мудростью было особенным счастьем срываться в дурацкий хохот.

Утонченность мне давалась плохо. Хотя девочки на меня, можно сказать, вешались, взросло-надменные молодые женщины все равно в упор не замечали. Зато у Юры то с одной, то с другой возникала какая-то заманчивая многозначительность. А настоящая любовь у Юры была устроена еще более утонченным - ненаблюдаемым - образом: Юра время от времени ездил к „ней“ аж в Москву. Однажды под настроение он с чуточку недоумевающей улыбкой признался мне, что вместо объяснения послал своей любимой пластинку с „Лунной сонатой“. И мне уж так захотелось тоже обзавестись чем-нибудь таинственным, и притом в Москве... И кто ищет... Прикатив в Москву в пять, что ли, сорок утра, я грелся бачковым кофе встоячку на промозглом Ленинградском вокзале, и на душе у меня резко потеплело, когда ко мне по-свойски обратилась молодая компанейская москвичка со слипшимися от краски ресницами. Вернее, сначала она поперхнулась кофе, и я дружески постучал ее по спине... Теперь и мне стало к кому ездить в Москву (общий вагон стоил рубля четыре), и даже подхватив от нее триппер, я еще долго страдал фантомными болями.

От Юры я получил и первые уроки чести - не привычной хамской чести борьбы, а изысканной чести неучастия. Нарезая батон к чаю, Славка вручил особо ценимую нами параболоидную макушку Юре, а затем, вместо того чтобы, как положено, резать дальше, мгновение поколебавшись, отрезал себе макушку от второго и последнего батона. Возмутившись, я отрезал третью макушку от другого конца и - поймал сочувственно-презрительный взгляд Юры. Уверяю, мною двигало оскорбленное чувство справедливости - я тогда был щедр по-настоящему, для других, а не для

себя, как сейчас (из отвращения к скарედности), - но Юра открыл мне другое: если справедливость ведет к некрасивости, пусть погибнет справедливость.

К пятому курсу Славка уважал меня, пожалуй, даже и поболее, чем Юру в лучшие дни - именно за то, что я начал открыто брезговать борьбой и гавканьем. Но что лучше - безобразно ссориться и забывать или вовсе не ссориться и помнить вечно?

Окна в реанимированном Эдеме все еще горели. Я заглянул на задний двор, где мы рубились в бадминтон - там красовалась импровизированная мусорная куча, современная - яркая и пестрая, как праздничная толпа. Но гальванизированные моей волей предметы уже не переливались праздником - исчез домысливаемый контекст, когда-то превращавший каждый булыжник в бриллиант. Ну, с чего бы так счастливо осесть от смеха на пол, когда Славка, лежа на кровати, потянулся мне вслед что-то спросить - и вдруг, подтолкнутый коварными пружинами, с вытарашенными глазами оказался на полу. И разве что-нибудь, кроме неловкости, я испытал бы по поводу запинаящегося Славкиного лепета о замирающих призывах скрипки и печальных ответах фортепьяно в „Крейцеровой сонате“: кажется, что это мужчина и женщина, они любят друг друга... И совсем бы меня не позабавила Славкина манера перед выходом в свет полировать туфли краешком одеяла, а потом еще время от времени ставить ногу на попутную урну и подновлять блеск скомканным носовым платком. А уж сам я себя вижу просто не вполне вменяемым, когда у врубелевской скульптурной головы „Демона“ („Посмотри ему в глаза близко-близко, - интригуяще подтолкнул меня Славка. - Страшно, правда?“) я вдруг пытаюсь подставить Славке ножку и - наступаю на священное зеркало ботинка. Правда, и шипеть, как Славка - „Ты думай, что делаешь!“ - я бы тоже не стал.

Можно бы уже и отпустить потревоженные тени обратно во тьму, но мне никак не остановить всколыхнувшуюся глуть. Вот вдруг вынырнул бледный Генка Петров, с фосфоресцирующими глазами привалившийся с гитарой к красно-коричневой, как деревенские полы, видавшей виды тумбочке. Он вбивает мне в душу струнно-барабанный ритм: „А по полям жиреет воронье - а по пятам война грохочет вслед!..“ - я готов поставить жизнь на кон,

чтобы только обрести за спиной что-то великое и трагическое. Генка еще при Славке умер в Арзамасе-16, а с его жены Вальки Морозовой („За что же Вальку-то Морозову?..“), выглядывавшей из-под челки, подобно испуганной болонке, в морге вдобавок содрали целых двести рублей. „Зачем же она дала?“ - с ненавистью спросил я, и Славка простодушно округлил глаза: „Мало ли - приклеят руку к уху...“ Я все еще впадал в отчаяние из-за того, что осенью идет дождь. Хотя изначально главным специалистом по благородным чувствам у нас был Женька. „Мы просыпаемся, а он лупит и ест, лупит и ест!“ Женька мыслил и чувствовал до того благородно, что еще и поступать таким образом считал делом излишним. Слезы в театре и шкурничество на улице много лет представлялись мне непереносимым лицемерием, - а это, оказывается, было самым что ни на есть искренним поведением в главном мире - в мире коллективных иллюзий, они же идеалы. Без них, таких бесполезных, мы бы передохли, как мухи на сладкой ленте, или передушили друг друга, как обезумевшая толпа в охваченном пламенем цирке. Совершенно зря Женька сделался для меня одним из тех, кто заставил ценить исключительно реальные дела, но не чувства, и только сегодня мне, старому потному дураку, открылось, что требовать от каждого реальных дел - та же пролетарская примитивность, желающая каждого поставить к станку. При строительстве храма архитектор важнее каменщика, а жрец важнее архитектора. Соль соли земли - мастурбаторы, умеющие только чувствовать, только грезить, только благоговеть перед собственными фантомами - и тем зажигать и направлять сердца людей дела, которые без них передушили бы и себя, и друг друга. Творцы обольстительных фантазий создают образ мира, в котором можно - что бы вы думали? - жить. Эти фантазии превращаются в разрушительную ложь, только когда спускаются с неба на землю, когда объявляют себя реальным планом действий. Зато, увлекая нас с земли, они удерживают мир над братской могилой, в которую его тащим мы, почитатели глубины, где можно найти лишь истлевшие кости да беснующуюся магму.

А слежавшиеся кадры из разных времен и комнат все просвечивали друг сквозь друга. Вот Славка с крупной вязки радугой поперек груди, откинувшись на стуле, ястребиным глазом вглядывается в

карты, а через стол изо всех сил держится за свою задиристую иконописность крошечный витязь с остренькой белокурой бородкой, специально приведенный в общежитие сразиться со Славкой в преф и раздетый им до шпор. А сквозь этого Славку явственно виден еще один, радостно режущийся „в коробок“ - ударом по выглядывающему из-за края стола спичечному коробку требовалось поставить его на ребро, а еще лучше на попа, - и вдруг на Славку сыплются попы за попами, и он с каждым новым попом тарачит глаза все более восторженно и простоудушно, приглашая всех подивиться на такую пруху. Но сквозь этого Славку свободно можно разглядеть еще и третьего, который тщится быть корректным, однако ему плохо удастся деликатность с теми, кто ему не интересен. А Попонина, к тому же, всегда так подавлена в предчувствии новой неудачи, и самый повод, который она отыскивает для общения со Славкой, всегда уныл до оскомины...

Наказанная чувствительной душой, закованной в короткое рыхлое тело при непрорезанных чертах лица, меня она, однако, все равно решительно не замечала - оттого, должно быть, что я слишком громко хохотал. Утешила ли ее та единственная ночь, когда она прошептала Славке: „Мысленно я давно тебе принадлежу“? (Попутно Славка с неудовольствием сообщил мне, что он еще и своей крови „подпустил“, в суматохе надорвав уздечку.)

Разумеется, Попонина была бы Славке лучшей женой, чем Пузя, но ведь нам подавай не пользу - наркотик. А Пузя умела кружить голову - прятаться за искусно создаваемый фантом, если считала желательным кого-то обольстить.

Знает ли она, что Славки уже нет? Возможно, это ее не слишком и затронуло - ведь он уже не был ее собственностью. А может, я к ней и несправедлив...

Катка не сразу сообщила мне, что Славка умер. Я тогда отходил после суровой операции - боялись, что я вообще отойду, - и она долго „готовила“ меня, заговаривая, что звонила из Хайфы Марианна, что Славке очень плохо, но моя только-только расслабившаяся глубь ни к чему дурному готовиться не желала, намертво задравшись от опасной реальности трехдюймовым чугунным люком. „У нас своего горя много“, - иной раз не выдерживала и

сверхдобрейшая Катькина мать. „Плохо“, „плохо“ - мне, что ли, хорошо! Ему уже двадцать лет плохо - глядишь, и еще двадцать будет не хуже. От прозрачных трубочек меня уже отсоединили, переводя на автономное питание - я уже самостоятельно вливал через воронку бульон в нержавеющее горлышко, глядящее из оранжевой аптечной клеенки у меня под ложечкой, а потом затыкал глазок продезинфицированной одноразовой пробочкой, для извлечения которой прилагался нержавеющий штопор в прозрачном полиэтилене. Опираясь на Катькину руку и ежеминутно проверяя, на месте ли пробочка, я уже отходил от больничного крыльца и заново, как в детстве, поражался чистой голубизне погожих осенних луж. По-социалистически непомерный простор двора был частично арендован строительной артелью, денно и нощно складывавшей дома-теремки из совершенно одинаковых, как сигареты, декоративных солнечных бревен. Катька продолжала докучать мне со Славкиным тяжелым состоянием, но все эти подходцы плющились о чугун, как мягкие пульки-стаканчики духового ружья: да ладно ты, мне тоже было тяжело, а глядишь, и обойдется!

Наконец, видя, что по-хорошему я не понимаю, она взялась за гранатомет: Славка умер. Как?!. Что-то младенческое, то есть главное, в моей глубине заметалось, пытаюсь улизнуть: нет, я не расслышал, я сейчас запихну эти слова ей обратно в рот!.. - но мотылек души против бульдозера правды... Я начал так рыдать, что из нержавеющего глазка вылетела одноразовая пробочка, и бульон толчками булькал во фланелевую сорочку. Я грыз себе руки, но боли не чувствовал - рыдания рвались неудержимо, как рвота. Перепуганная Катька пыталась что-то лепетать. Но я понимал одно: сказанного не вернешь, - и, зажимая отверстие в животе, ухитрился выговорить единственное слово: „Помолчи“, - и свободной рукой показал, что хочу остаться один. Теперь, зажимая еще и рот, откуда рвался неудержимый хриплый лай, я добрал до бетонной ограды и уткнулся в нее лбом. Катька метров с десяти пыталась испуганно заглянуть мне в лицо, словно маленькая девочка, впервые увидевшая пьяного с расквашенной рожой.

В тот день подобные схватки овладевали мною еще несколько раз, но я уже справлялся, зажимая рот и одновременно усиленно

жуя попадавшую туда мякоть (не забывая и о пробочке). Сегодня же я только вздыхаю... Не смиряются с реальностью в конце концов лишь глупцы. Но побеждают в конце концов лишь безумцы, ни за что на свете не согласные смириться с тем, что осенью идет дождь. И я, вероятно, еще жив, если мне так горько, что несколько лет назад погожей осенью пролился короткий ливень.

Прижатая к клеенчатой спинке спина сразу же сделалась окончательно скользкой, как мокрое мыло. Но сидеть прямо не было сил. Сил захотеть. С некоторых пор меня начинает тошнить, если я пытаюсь что-то припомнить через силу, но мне уже не отсесть все это рванувшее на Страшный суд по неосторожному звуку трубы сонмище теней.

Солнце давно скрылось, но жар так и будет недвижно стоять, как в русской печи. На этом самом месте мы с Катькой точно так же ждали водителя, но почему-то у Катьки впервые не было охоты валять дурака. „Плохое настроение“, - человек не имеет права так о себе говорить без понятной уважительной причины. В порядке заигрывания я вытащил у Катьки из сумочки - а, да-да, какая-то серовато-беловатая припухшая имитация крокодиловой кожи, - белую расческу. Но Катька игру не поддержала. „Тебе что, расческа не нужна? Так, значит, ее можно выбросить? Ну, что ж...“ Я встал и опустил расческу за окно. Так мы и сидели молча, а расческа белелась на этой самой мазутной брусчатке.

А распаренный народ наконец-то занял-таки все места, и первая же стоячая тетка принялась отдуваться, разумеется, у меня над душой. Мне хочется прикрыться веками, но я еще не успел научиться закрывать глаза на правду. Я предпочел перебросить на грузку с измочаленной души на горящие ноги и галантным жестом указал тетке на свое место с мокрым пятном на коричневой спинке. Однако ослабилась я при этом настолько неестественно, что она, расцветши было благодарностью, сразу же поскучилась. Правильно, важен не поступок - важно чувство, с которым он совершается.

Мне хочется повиснуть на скользкой перекладине, но мокрые подмышки... И на заднюю площадку не уйти - тетка еще примет на свой счет... Дернулись наконец, застучали, все убыстряясь, - мимо книжного магазина, где я когда-то покупал петрозаводских

„Братьев Карамазовых“, мимо кирпичнополосого, немецкого, как мне виделось, „Гаванского рабочего городка“ с резными деревянными кронштейнами под крышами, возведенного вместо баррикад в девятьсот четвертом-шестом годах трудами учредителя товарищества борьбы с жилищной нуждой Дмитрия Андреевича Дриль - гм, мраморная доска-то во дворе, а не снаружи... Гремим серым ущельем Гаванской, распахивается неоновое закатное небо в широком бульваре „Шкиперский проток“. Окна бывших „Колбас“ затянуты пыльным полиэтиленом - именно здесь мы со Славкой вместо корейки на закуску однажды размахнулись на буженину по три семьдесят, - а нам завернули один трепещущий жир, и Пузя устроила такое поджатие губок и сверкание глазок... Я бы убил. Но сил нет. Я ее еще вижу, но уже ничего не чувствую. А Славка вот он, вот он, вот он, вот он... Вот он подает Катьке пальто, бедово зажав его рукав, и простодушная Катькина рука долго тычется, пока... Но огреть его по спине не удастся - баскетболист! Слева вылетела не такая уж, оказывается, и громадная громада кинотеатра „Прибой“ - на крыше ржавеют сварные буквы „КИНОТЕАТР“, но брошенный у ступеней, как плуг, якорь блестит черной краской. Меркнувший глаз успел схватить какой-то пасьянс: „Кожаная мебель“, „thermax“, „Выставочно-торговый зал „Демос“.

И тут я почувствовал, что пора кончать по-настоящему: в глазах по-настоящему мутилось. Наплевав на подмышки, я повис на перекладине. Катька, вспоминая Славку, особо страдает еще и о двух девочках-сиротках, но меня это только злит. Как можно вспоминать о таких частностях, если он больше не смеется, не тарашит глаза, не открывает какого-нибудь Рюноскэ Акутагаву, особо наслаждаясь звучанием „Рюноскэ“, не приходит в восторг от нового фантома, не крутит досадливо головой от новой несправедливости (беспорядка), не торчит под лампочкой с „Сагой о Форсайтах“, не столбенеет с глуповатой улыбкой над детской колясочкой, не учит меня бриться в бане, доводя распаренные щеки до солнечного сияния: его НЕТ - вот чему нужно не верить! Потому что он - вот он: азартный баскетболист, снисходительный картежник, алчный математик, скептический остроумец, восторженный пацан, желчный диссидент, скуповатый еврей. заботливый папаша. опухший Афанасий Афанасьевич Фет - меня уже вот-вот стошнит от

перенапряжения, а глубь моя выбрасывает все новые и новые его обличья: Славка там, Славка сям, Славка то, Славка это!.. Оставь меня - пусти, пусти мне руку!.. Но остановить это извержение можно лишь кулаками по голове. Помогло бы, наверно, а зарать: „А по полям жиреет воронье“ ..“ - выбивая ритм на пыльном стекле...

- Мужчина, вы не откроете окно?

Обращаются ко мне.

А я умею открывать окна.

Я все умею, мне нужно только сосредоточиться.

И я сосредоточиваюсь.

И все делаю как надо.

И возвращаюсь в реальность.

НОВАЯ КНИГА СТИХОВ
АЛЕКСАНДРА ВЕРНИКА

„САД НАД БЕЗДНОЮ“

Иерусалим, 1999

Цена книги в Израиле – 25 шекелей (с пересылкой).

В других странах – 9 долларов США (с пересылкой).

Желающие приобрести книгу могут обратиться к автору.

Телефон: 02-6763214 (из других стран: 972-2-6763214)

Адрес: Alexander Vernik,

Margalit Str. 1. Apt. 10. Jerusalem 93847

* * *

Когда его ударили ножом,
Что он успел запомнить - только камни
Извилистой кладбищенской стены,
Но не запомнил мутных глаз шпаны,
Арабских лиц и голосов нахальных -
Растерян был, видать, и напряжен.

И нож вошел куда-то между жил.
И хряснула под лезвием природа.
Он так боялся дикой боли входа,
Что выхода уже не ощутил.
Плечо зашили. Кровь уже не шла.
Больничные пустые зеркала
Не отражали призраков оттуда.
Безличная казенная посуда
С какой-то пищей на столе ждала.

А он глядел вверх, туда, где шло
Все это снова, как в кино давнишнем,
На стенке и за ней, и было лишним
Немытое оконное стекло.

Там снова нож был выхвачен, и он,
Семью цветами вспыхнувший во мраке,
Так и горел весь долгий миг атаки,
Пока над ним был криво занесен.

Там снова по знакомому пути
Спускался он, как будто для убоя.
И снова возникали эти двое,
И было их никак не обойти.

октябрь 1998

ВМЕСТО ДРУЖЕСКИХ ПИСЕМ

Предпочитая письма от руки,
Подробностей смешных не опуская,
Я сообщаю: „Жизнь, она такая“.
И там, на берегу большой реки
Читают это. Видят ли они
За фразами какую-то картину.
Мне невдомек. В невымытом стекле
Сменяет камень пыльную куртину.
Крутой закат – Мессию на осле.
И я пишу: „Он, видимо, придет.
Что толковать, известны даже сроки...“
Но это зря – на том большом Востоке
Все понимается наоборот.
Так думают: „Что за дурацкий пыл?..
Ну вот, типичный случай неофитства...“
Так что ж я продолжаю в стену биться,
Хоть ничего про это не забыл?..

Я озираюсь – в воздухе следы
Мельчайшие, как сахарная пудра.
И все вокруг устроено так мудро,
Что не до злости и не до вражды.

Все правильно. Достоинства полны,
Не встретимся на мысленной границе,
Где первородство стоит чечевицы.
А прочие валюты не нужны.

И если голод, то не по хлебам -
По истине, и со своею каждый
Приходит и хлебает, что хлебал,
Дабы уйти с неутоленной жаждой.

Так разойдемся, что ли? Мне туда,
Где солнце прожигает города,
Чтоб выплавить неведомое что-то
Из коллективных страхов и обид.
Закрытие невидимого счета -
Забота наша, частная забота.
Вам это ни о чем не говорит,
И разговоры, значит, ни к чему,
Зарницы их не озаряют тьму,
Густеющую между полюсами.
Вы сами по себе. мы тоже сами.
Души не обожжет чужой глагол.
От этого мы, право, не в убытке,
Оставим для общения футбол,
Семью, природу, крепкие напитки -
Все, что возможно доверять письму.
О прочем же - ни слова. Никому.

апрель 1998

„ИЗРАИЛЬ-50”

Впервые вся история Еврейского Государства за 50 лет.

Главные и второстепенные события; войны; борьба с террором; экономика и культура; люди, чьи имена вписаны золотыми буквами в историю государства; скандалы, всколыхнувшие общественность.

Праздничный альбом, 160 цветных страниц.

В Израиле – 87 шек. В Америке – 37 долл., включая пересылку.

В Европе – 30 долл., включая пересылку.

Издательство „Меркур”, ул. Дов-Хоз, 11/7, Тель-Авив.

Денис Соболев

КОФЕ У ШХЕМСКИХ ВОРОТ

Две белые матовые чашки,
Наполненные до половины;
Мелкие блики на поверхности черноты
Приторные сладости на розетке
С синим узором.

Приподняв чашку,
Я прикасаюсь губами
К ее раскаленной темноте.

Только здесь умеют варить
Настоящий черный кофе;
Или, может быть, это привкус смерти
Делает его крепче

И счастливее

АФРИКАНСКАЯ МАСКА, КУПЛЕННАЯ НАПРОТИВ НОВЫХ ВОРОТ

Черный изгиб широких скул,
Напряженность грубых черт,
Презрение, высокомерный оскал,
Медвежья белизна пустых глазниц,
Направленных прочь.

Я подношу ее к окну. Оскал
Оказывается улыбкой, презрение
Милосердием, глазницы
Загораются цветом неба. Маска
Ухмыляется. Ее мрачная горечь
Праведника освещает мои мысли.

Воздух отвечает ей крокодильим посвистом,
Оленьим теплом воды, прустовской
Нежностью лиан. Разрывая сентиментальность,
Маска склоняется к ручью
И пьет из ладоней прозрачную воду
Высокомерия.

ПУСТЫНЯ

В середине разомкнутости
Ее круга
Лежит тень.

След ночи, уходящей
Со свитой косоглазых ифритов
И козлоногих танцующих сеиров

По узкому полету ущелий
Вдоль разорванного скольжения беркута
И крылатого падения воды,
Вдоль молчания полученных камней
И щедрости пустых колодцев.

В бурой открытости пустыни,
В песчаной открытости пустоте
Звучит каменный голос одиночества
Ускользящего от самообмана.

Дай мне твою руку,
желтая тишина,
я искал тебя.

Я смотрю на идущего
с невидимым лицом,
я искал тебя,
моя желтая тишина.

В центре разомкнутости
твоего круга
падает тень.

ЦВЕТЕТ МИНДАЛЬ

В тонком китайском халате
сонный весенний ветер
скользит по безлюдным обочинам
времени

Он поет гимн лени и светлой
надменной мысли,
медленно перебирая струны
цветущего миндаля

Таает
густая угловатость вещей,
и тяжелая вязкость мира;
мягкие хлопья присутствия
растворяются в головокружении
холодного воздуха.

Тугая плотность пространства
отступает

и рассыпается.

Яков Шехтер

МЭТР И БОЛЬШАЯ БЕРТА

фуга в ми мажоре

*...и шестикрылый серафим
на перепутье мне явился...*

Из соч. А.С. Пушкина

«Религиозная. Совсем девчонка. Длинная синяя юбка из блестящего, льющегося материала, белая блузка с рукавами до запястий. Ворот застегнут по самое горло на ровные, глянцевые пуговички в три ряда.

Глаза – огромные, миндалевидные, брови, как мохнатые шнурочки, припухлые губы, без тени помады, ей бы еще шоколадки грызть, или что они тут грызут, ан нет, уже выгнуты в преддверии поцелуев.

Нос, правда, можно уменьшить. Сейчас недорого берут, раз два и какой хотите, с горбинкой или прямой аристократический. А вот грудь не мешало бы приободрить...

Восточная, наверное. Кожа хоть и светлая, но с темным налетом. Говорят, они как огонь, если приручишь. Где там, приручишь, ишь, косится, словно испуганная газель. А волосы собрала пучком на затылке, будто чеховская курсистка.

Хороши волосы! Густые, с блеском. На шампуню, небось, не жалеет. С деньгами проблем нет – такую кожаную сумку не всякий себе позволит. Значит, и на шампуню хватает. Конечно, хватает, вон как блестят, а пахнут, наверное, хвоей, будто нагретый солнцем бор в середине августа».

Все это просмотрел и продумал за несколько секунд журналист крупной тель-авивской газеты Аркадий Межиров, потев в автобусе кооператива «Эгед». Он стоял в конце прохода, устало повиснув на поручне, и от нечего делать разглядывал девушку. Ехали они вместе уже давно, но синее марево компьютерного экрана, перед которым Аркадий просидел десять часов, только сейчас расступилось, нехотя отпустив сначала девушку на переднем плане, а за ней других пассажиров, водителя, огни светофоров и лакированные спины машин. Девушка была симпатичной, нет, красивой, очень красивой, и Аркадий рассматривал ее с явным удовольствием. Удовольствие, впрочем, носило чисто платонический характер – шансов на сближение с красоткой было не больше, чем на флирт с Венерой Милосской.

В автобусе работал кондиционер, но рука, сжимавшая поручень, все равно потела, и горячие капли стекали прямо под мышку. Возвращался Аркадий из редакции перечерканный, словно многократно правленный текст. Девушка лишь на минуту привлекла его внимание, он опустил глаза и вернулся к своим мыслям, серым и мятым, как дешевая туалетная бумага.

Работа выжимала из него все соки, заодно с той, не взвешиваемой, но весьма весомой субстанцией, именуемой душа. Дни до рвоты ходили один на другой; девять, десять часов в редакции, расслабуха с приятелями под водку и приевшиеся закуски, выходные, заполненные не приносящим облегчения сном. Хозяин газеты требовал от Аркадия две полосы в день, двенадцать в неделю, сорок восемь в месяц. И он давал, поскольку мыть туалеты на бензоколонках или подтирать сморщенные стариковские задницы было еще противней.

Писал Аркадий спинным мозгом, отключив голову, но получалось неплохо, зло и с оттягом, многим нравилось. Не нравилось только самому Аркадию, да деваться было некуда, и он строчил, дурея от мерцания экрана, а вечером тяжело и мучительно отходил, переживая нечто среднее между похмельем и угрызениями совести.

Он еще раз взглянул на девушку; осталось только рассмотреть пальцы, чтобы понять о ней все. Слово подвигаясь к выходу, Аркадий сделал несколько осторожных шагов, придвинувшись

почти вплотную к объекту наблюдения. Объект разжал кулачок и брезгливо отодвинул руку. Ладонь раскрылась всего на несколько мгновений, но этого оказалось достаточно – ногти были выгрызены почти до мяса.

«Фикция, все фикция, – сурово отметил Аркадий. – И длинная юбка, и стыдливые пуговички у ворота. Под ними бушуют вполне понятные страсти, и пальчики эти наверняка уже проложили дорогу в другие, более заповедные места».

Он зажмурился, представив прохладные ложбины, тенистые бугорки, плавное течение воды, неспешно и влажно перебирающее водоросли на краю омута, мерное поскрипывание уключин и внезапный, как всегда, обвал комьев, от самой кромки обрыва прямо туда, в воспаленно дрожащее зеркало.

«А ведь тоже, учить начнет. Просвещать, указывать. Возлюби ближнего, вместо самого себя! Но как главу государства убивать, так тут как тут, фарисеи недобитые. В Тель-Авив с поселений, небось, прикатила, вон кроссовки грязью перепачканы, а где ее отыщешь летом в Тель-Авиве, грязь-то?»

Он опустил голову и принялся укоризненно разглядывать перепачканные кроссовки.

«Привести себя в порядок некогда. До того ли! Все великие идеи в голове, планы миссионерские, по массовому возврату населения в лоно иудаизма. Обидно только, что такая хорошенькая!»

Девушка заметила, наконец, косые взгляды Аркадия и смутилась.левой рукой она крепко прижала сумку, а правую, отпустив поручень, испуганно поднесла к груди. Было в ее смущении нечто чрезмерное, избыточное для простой автобусной переглядки.

«Интересно, что она прячет? Не деньги ведь, откуда у такой пигалицы большие деньги. Хотя, может, они большие только в ее представлении.

А может, – фантазия Аркадия, натренированная непрерывным писанием детективно-приключенческой бурды, понеслась вскачь, – может там револьвер, листовки и план убийства нынешнего премьера».

Честно говоря, против убийства нынешнего премьера Аркадий не возражал, но смущение девушки и вправду перешло границы

нормального, а на лице появилась гримаса совсем не нафантазированного страха.

«Ишь ты! – удивился Аркадий, отводя глаза и делая равнодушное лицо, – может, она меня за полицейского агента принимает, за провокатора. Морда моя в самый раз для такого дела; тусклая, без особых примет, если чем и выделяюсь, то трехдневной щетиной. А что бриться человеку больно, что кожа раздражается на жаре – понять не может. Писюшка наивная, но мысли исключительно о великом. Хлебом не корми, дай Отечество поспасать».

Провокатор! Перед глазами поплыли проулки южного Тель-Авива, сумрачные фасады старых домов на Алленби, таинственные лица заговорщиков в больших вязаных кипах, пакеты из плотной коричневой бумаги, «случайно» забытые на скамейке бульвара Ротшильд, и вообще весь сопутствующий сыску видовой ряд.

Мысль, поначалу безумная, стала нравиться ему все больше и больше. Он примерил на себя шпионское платье: надвинул поглубже серую шляпу, чуть приспустил темные очки и небрежно оттопырил руку с зонтиком-тростью, в недрах которого скрывались кинжал, портативный радиопередатчик и складной пулемет. Губы сами собой сложились в презрительную улыбку, а щетина на щеках встала дыбом, словно шерсть на спине у кота. Роль ему нравилась. Было в ней что-то от настоящей жизни, подлинное, как бергамотовый запах лондонского чая “Earl Grey”.

Он поднял голову и бросил осторожный взгляд на девицу. Перемена, произошедшая с Аркадием, испугала ее до неприличия. Пухлые губы задрожали. Вцепившись обеими руками в сумку, она бросилась к выходу.

«Нет, точно заговорщица, – подумал Аркадий. – Иначе с чего так мельтешить?»

Он взглянул в окно. Автобус давно проехал нужную остановку, приключение затянулось, пора было возвращаться.

Не обращая внимания на возмущенные взгляды и возгласы, Аркадий протолкался к выходу и выскочил на горячий асфальт тротуара. Девушка успела отбежать довольно далеко. Аркадий улыбнулся и вдруг, вместо того чтобы перейти на другую сторону улицы, к остановке автобуса, идущего в обратном направлении, припустил вслед за ней.

«А что, – подумал он на бегу, – славненько может получиться. Глядишь, и материал подсоберется, не все же лапу сосать».

Лапа, по правде говоря, была обсосана до самой кости. В ход пошли воспоминания детства, студенческие шутки и споры, анекдоты, рассказы родственников, друзей и случайных попутчиков – газета, будто гигантские жернова, перемолола жизнь Аркадия. Впечатления безвозвратно покидали организм, оставляя бледное пятно, словно закрытая для использования функция на экране компьютера. А тут материал сам шел, нет, сам бежал в руки, красивый, изящный, легконогий материал.

Перед столиками кафе, вынесенными прямо на тротуар, преследуемый объект приостановился и, обернувшись, взглянул прямо на Аркадия.

Бедная, наверное, она надеялась, что происходящее – просто игра ее воображения или случайное стечение обстоятельств. Увы, уколотившись о трехдневную щетину преследователя, надежда лопнула, словно воздушный шарик.

«Шалишь», – подумал Аркадий и, чтоб наподдать жару, грозно насупил брови.

Роль преследователя нравилась ему все больше и больше. Он тут же вообразил открытый процесс над выслеженными по его наводке членами еврейского подполья: «встать, суд идет», «последнее слово» и прочие атрибуты юридического протокола поползли муравьями вдоль позвоночника. Не славы, не славы искал Аркадий, а хлеба, скромного хлеба насущного, смоченного слезами и спинномозговой жидкостью.

«Б-р-р-р», – он представил себе такой кусочек и скривился, словно уже откусил и должен проглотить.

Девушку этот жест привел в настоящее отчаяние. Мотнув головой, она побежала напрямик сквозь кафе, грациозно лавируя между ногами посетителей и спинками стульев. Аркадий ломанулся было за ней, но его остановил официант, чернявый парнишка в белой форменной куртке. Куртка была плохо застегнута, и обильная для такого возраста растительность торчала из прорех на груди.

– Тут нет прохода, – вежливо, но твердо сказал официант, – обойди сбоку.

«Обойди, обойди, вот последить за тобой хорошенько, тоже найдется, что сообщить. И счета, небось, завышаешь, и сдачу недодаешь, и порции заодно с поваром уменьшаешь. Воришка, жулье ресторанное!»

Обойти, конечно, пришлось – не драться же, в самом деле, с официантом, но девушка успела скрыться за углом дома. Пройдя на рысях последние двести метров и подняв с карниза, судя по шуму крыльев, целую стаю голубей, Аркадий настиг беглянку у двери парадного. Он подбежал почти вплотную, когда девушка юркнула внутрь и, бросив «негодяй!» прямо в лицо преследователю, захлопнула дверь.

«Негодяй» – наивное слово, из лексикона гимназисток и курсисточек. Детским садом пахнет, институтом благородных девиц. В Израиле он по другому называется, Бейт-Яаков, дом Якова. Кстати, какой тут номер дома, надо бы записать...»

Он огляделся: скудно освещенная улица, струи желтого света из редко расставленных фонарей тонут в пыльном кустарнике. Сплошной ряд машин вдоль тротуаров, мусор на мостовой. Жалюзи на окнах полуприкрыты, негромко звучит музыка, блюз, тихая раскачка, с носка на пятку, с носка на пятку...

«Номер, куда же запропастился номер. Вот он, лампочка разбита, но разглядеть можно. Итак, фиксируем – адрес подпольной квартиры: улица Пророков Израилевых, дом...»

Дверь отворилась. Нет, растворилась, словно всосанная гигантским пылесосом, бесшумно включившимся в глубине парадного. Воздух слегка вздрогнул, и на пороге возникли двое: чернявые, с нестриженными бородами и большими кипами на головах.

Дальше смутно. Темные улицы, топот преследователей, горячий, утративший кислород воздух, собачье дерьмо, прилипшее к сандалиям. Остановился Аркадий только на Алленби, возле полицейского джипа. Прислонился к синему борту и прерывисто задышал, проклиная сигареты, сидячий образ жизни и религиозный сионизм.

– Сержант Замир, – представился полицейский, осторожно тормоза Аркадия. – Что случилось?

Аркадий оглянулся. На улице никого не было, после закрытия магазинов шумная Алленби затихала, словно больной ребенок,

принявший лекарство. Религиозные исчезли, точно их никогда не существовало. С внезапно возникшим опасением Аркадий принялся вспоминать подробности: да, большие вязаные кипы, бороды – он и сам по молодости ходил с бородой, как запустил на третьем курсе, так и не расставался, до самого развода – белые рубашки навыпуск, демонстративно свисающие кисточки цыцит.

– Вызвать «скорую», – двое полицейских совещались, внимательно рассматривая лицо Аркадия, – или отвезти в участок, пусть там разбираются.

– Нет, нет, спасибо, все в порядке, – он даже слегка поклонился, – уже прошло.

«Замир, все они за мир, патриоты хреновы. Твари копченые, кто ж у нас в полиции служит, как не эти, с дерева слезли и туда же, за мир, за мир».

– Авишай, – второй полицейский, по всей видимости, был старшим, в голосе Замира явно проскальзывало подобострастие, – на пьяного не похож, вколосся, видать, и бегаёт в поисках приключений.

– Сажай его в машину, повезем в участок, – нехотя отозвался Авишай.

Полицейский поправил фуражку и начальственно ухватил Аркадия за руку.

– Садись.

Из-под форменной фуражки выполз замусоленный краешек вязаной кипы.

«Игаль Замир», – прочитал Аркадий на блестящей металлической пластинке, прикрепленной на груди полицейского, и вздрогнул от ужаса.

«Вот они где, как обошли меня, как подгадали. А я-то хорош, защиту прибежал искать, поддержку. Сейчас помогут, поддержат...»

– Да не надо, – взмолился Аркадий, вырывая руку, – отпустите, я тут живу на соседней улице.

На соседней улице жила Берта, старая подружка Аркадия.

– На соседней улице, – недоверчиво переспросил полицейский, – сможешь добраться?

– Возле рынка, раз-два, и там, – настаивал Аркадий. – Да я с работы, умаялся за день, сплю на ходу.

Он вытащил удостоверение журналиста и помахал им, словно тысячедолларовым банкнотом. Денег таких ему сроду держать не приходилось, но помогли фильмы и богатое воображение.

Замир осторожно вытащил из пальцев Аркадия пластиковый квадратик и передал Авишаю.

– Действительно, журналист. Куда пишешь, в «Едиет» или «Марив»?

– Да я в русской газете работаю, для эмигрантов, вы не читаете, – голос Аркадия слегка вибрировал, – мне еще номер сдавать, к двенадцати. Пустите отдохнуть, вздремнуть пару часов.

– Ну, иди, – Авишай вернул удостоверение и, утратив интерес, полез в машину.

– Счастливо, – улыбнулся Замир. – Хороших снов.

Горячий желтый свет обливал элегантные костюмы на столь же элегантных манекенах, матово светились белые рубашки, вальяжно расстегнутые верхние пуговицы обнажали розовую пластмассу. Витрины жили своей отдельной жизнью; лились, никуда не впадая, потоки воды по затейливо изогнутым трубкам магазина «Душа душа», таинственно мерцали серебряные подсвечники и кубки на полках «Аксессуаров святости», хищно улыбались красотки с глянцевых обложек журналов мод. По тротуару, играя и пенясь, ползла темная полоска; пьяный румынский рабочий мочился прямо на асфальт.

«Вот обнаглел, – подумал Аркадий, – такая струя, и на виду у полицейских».

Он оглянулся. За спиной никого не было. Джип вместе с сержантом Замиром и его немногословным начальником испарился подчистую, словно вода в Мертвом море.

«Ловкачи, шустрые ловкачи. Покатили, небось, на улицу Пророков Израилевых, рассказывать, как провели простачка...»

Аркадий задохнулся от ужаса.

«Замир удостоверение видел, значит, запомнил фамилию. Тот то пялился, перед глазами вертел. Идиот, какой же ты идиот!»

Он прислонился к витрине и отер проступивший пот. Стекло

чуть вибрировало, наверное, внутри магазина работал забытый кондиционер.

«Б-же мой, какие полицейские, какие заговорщики. Аркадий, ты сходишь с ума, ты просто сходишь с ума!»

Он нащупал в кармане пачку сигарет.

«А ведь как могло быть славно: вернуться домой, попить ледяной колы из «голодильника», перекусить чем найдется, и на диван с сигаретой. Музыка, желательно Баха, синие завитки дыма, иней на зеленых крышах, свист ветра в черных голых деревьях, промерзшие стены старых соборов. А потом тишина, до самого утра тишина, лишь равномерный стук капель из крана на кухне. Починить, но когда... И так славно, так уютно, без суетливых знакомых, наглых работодателей, завистливых друзей, неверных женщин».

– Сигаретен, сигаретен! – румын помахивал рукой перед самым лицом Аркадия. – Пожалуйста, – он поднес руки к горлу и сжал, будто хотел покончить с собой столь оригинальным способом.

Аркадий усмехнулся. Это он понимает. Сколько раз сам задыхался без живительного дымка, особенно в подпитии.

Он вытащил пачку и протянул румыну. Покачиваясь, тот принялся ковыряться в ней неуклюжими пальцами разнорабочего. Аркадий вспомнил струю и, брезгливо улыбаясь, отдал румыну всю пачку.

– Спасибо, друг!

«Понес тебя черт за этой девчонкой. Напридумал, накрутил шпионские страсти, сорок бочек бакинских комиссаров. Сдаешь, старик, сдаешь...»

Румын с достоинством принял протянутую пачку, надорвав края, вытащил сигарету, прикурил и, почти не качаясь, двинулся напрямиком на красный свет светофора.

Аркадий встревоженно огляделся по сторонам. Алленби по-прежнему была пуста, водители, как видно, предпочитали не столь загроможденные светофорами, маршруты.

Он посмотрел на другую сторону. Румын пропал. Куда можно исчезнуть на залитой огнями витрин улице?

«Ну и хрен с ним, одним румыном меньше, одним больше... Какая разница для железной поступи прогресса».

Аркадий отлепился от витрины и заглянул внутрь. Зоомагазин.

За стеклом аквариума, энергично шевеля хвостами, сновали разноцветные рыбы. Вид у них был весьма деловой; как видно, незамысловатые для постороннего глаза проблемы рыбьего существования требовали, тем не менее, значительных усилий.

В голубом полумраке громоздились клетки со всякой живностью; попугаи наихитрейших расцветок, котята, щенки. Взъерошенный рыжий котенок привлек внимание Аркадия: высунув из клетки лапку с растопыренными когтями, он тревожно рассматривал кого-то в глубине магазина. Аркадий проследил за его взглядом – на полу противоположной клетки, удобно пристроившись друг к другу, дремало хомячиное семейство. Лапка котенка, протянутая к недостижимой добыче, беспомощно вздрагивала, являя собой овеществленный символ тщеты и бессмыслицы земной суеты.

«Звери, мойте лапы...» В третьем классе он дружил с соседкой по парте, курносенькой, веснушчатой Ритой. Она ему безумно нравилась, и он ей тоже. Дружили совсем по-детски, без поцелуев и прочих знаков внимания, но наедине он вполне серьезно уговаривал ее пожениться. Рита смеялась, приоткрывая нежную полоску верхней десны и норовила щелкнуть его по носу.

– Фантазеркин, обманщик и водолей.

Он клялся в вечной любви, Рита не верила, требовала доказательств, он клялся снова, Рита опять смеялась, а время несло и пропадало так, словно кто-то толкал изо всех сил часовую стрелку.

Они много гуляли, он катал ее на санках, самозабвенно, часами, без малейших признаков усталости. Потом Рита приглашала его обедать, они вваливались в маленькую прихожую ее квартиры, сбивали снег с ботинок, смеялись, подталкивая друг друга.

– Звери, мойте лапы, – кричала из кухни Ритина мама, – обед на столе.

Потом все распалось, честно говоря, он даже не помнит почему. В памяти остались только снег, скрип полозьев и «звери, мойте лапы».

Рита стала модельером, деловой женщиной. После перестройки открыла сеть магазинов одежды. Полгода назад ее застрелили на пороге собственного ателье.

Он еще несколько минут понаблюдал за безмолвной суетой рыб, стараясь не смотреть на котенка, поскрипел, сам не понимая для чего, ногтями по стеклу витрины и побрел в сторону рынка.

* * *

Берта снимала подвал прямо посреди торговой зоны. В зарешеченные окошки, расположенные под самым потолком, днем заглядывали ноги прохожих, а ночью – жирные рыночные коты. Летом в подвале было жарко, зимой сыро, но сдавали его Берте за такую скромную сумму, что жалеть не приходилось. Злые языки утверждали, будто истинной платой за квартиру является Бертина скромность, но кто их проверял, злые эти языки. Впрочем, Берта, в ответ на намеки и подхихикиванья, заявляла напрямик:

– Да, даю. И не только ему. А стыдиться тут нечего – на мне выросло, значит мое.

По женской части Берта не задалась. Щупленькая, коротко стриженная под мальчика, в круглых очках «а-ля Леннон». Зимой джинсы и серый свитер в обтяжку, летом шорты и серая маечка. Обтягивать, честно говоря, было почти нечего, так, шарики для пинг-понга и две бадминтонные ракетки, но на отсутствие мужского внимания их обладательница не жаловалась. Скорее наоборот, спрос намного превышал предложение.

Работала Берта компьютерным графиком, а свободные силы души отдавала сочинению оперных либретто. Занималась она чистым искусством, поскольку музыку ни к одному из либретто пока не успели сочинить.

Но и помимо музыки проблем хватало. Берта разрабатывала ею же придуманный жанр – опера ужасов. Темы она выбирала исключительно пионерские, «Утро Трофима Морозова» или «Пляшущие октябрюта». Неграмотным, коих, к сожалению, большинство, с полупрезрением сообщалось, что папу невинно убиенного Павлика звали Трофимом, а водка, для непонятливых, за углом продается.

– И что мне в этой шалаве, – регулярно спрашивал себя Аркадий, но столь же регулярно усаживаясь в подобранное на мусорке

продавленное кресло, к собственному удивлению, ощущал некоторый уют и приязнь.

Предприимчивый владелец подвала установил гипсовые, не доходящие до потолка перегородки, превратив бывшее складское помещение в подобие трехкомнатной квартиры. Подобие, поскольку любые запахи и звуки, включая туалетные, одинаково хорошо были слышны в любом уголке. Посреди самой маленькой из образовавшихся клетушек Берта бросила на пол матрас и подушки, это называлось спальней; в чуть большей удобно расположился стол с компьютером, а в самой большой принимали гостей. Берта повесила на стены эскизы декораций к опере «Костер пионеров», разбросала по углам холодильник, газовую плиту, этажерку с книгами, водрузила посредине стол с перевязанными проволокой ногами и зажила.

Единственное, что менялось в обстановке подвала – это Бертины сожители. Одни приходили сюда на ночь, а исчезали через неделю, с тихой улыбкой сбывшихся ожиданий. Другие уверенно поселялись навечно и пропадали на следующий день. Постоянство, причем без всяких к тому усилий, получил только Аркадий. От щедрот Берты ему перепало практически всегда, вне зависимости от того, был ли у нее в тот момент постоянный приятель. Иногда Аркадий даже перебирался к ней на несколько недель, а то и месяцев, но в конце концов не выдерживал и сбегал. Его приходы и уходы Берта воспринимала с деланным равнодушием. Лишь однажды, на дне рождения лучшей подруги, обнаружив пьяненького Аркадия в объятиях виновницы торжества, заметила в пространстве:

– Не люблю терять вещи. Ищешь, ищешь, сходишь с ума от беспокойства, и все для того, чтобы потом обнаружить на ком-нибудь дорогой сердцу предмет.

Последним Бертиным кавалером был ревнивый владелец деликатесного магазина Валик. На Аркадия он косился нехорошо и злобно, то ли что подозревая, то ли прослышав от добрых людей про особый тип его отношений с Бертой.

– Зачем портить человеку настроение, – решил Аркадий и перестал приходить.

Берта звонила, выспрашивала, просила прощения, не пони-

мая, впрочем, за что, но удовольствие видеть рожу Валика перевешивало даже сексуальный голод. И не пошел бы он никогда, тоже, понимаешь, товар, подсушенные прелести Берты, но эти двое, эти бакинские комиссары, переполошили, взбаламутили старые страхи и мании.

Под ногами захрустело. Значит, уже рынок. До полуночи будут снова уборщики, собирая вываленные прямо на мостовую фрукты и овощи, потом пройдут со шлангом, смывая тугой струей все, что не заметили и пропустили. Утром на влажных отросы и ночного полива тротуарах снова раскинется пестрое, невообразимое богатство восточного рынка, с безумными выкриками продавцов, степенными покупателями, баррикадами еды, одежды, дешевой косметики, книг, будильников, видеокассет, портретами праведников и полуголых красоток, грохотом и звоном басурманской музыки.

Дверь в подвал, как всегда, была полуоткрыта.

– Аркаша, солнышко! – Берта поспешила навстречу.

Ну и: те же джинсы, та же маечка, тот же набор восклицаний и междометий. Он сухо прикоснулся губами к подставленной щеке и направился прямо к любимому креслу. Кресло оказалось занятым. У колченогого стола, уставленного дешевой снедью, удобно расположились двое.

– А где Валик?

– Иных уж нет... – Берта неопределенно помахала рукой, словно прощаясь с кем-то, только что улетевшим на помеле.

– Мэтр, – подал голос узурпатор из кресла, – присоединяйся.

Аркадий краем глаза был с ним знаком. Литературный мальчик хорошо за сорок, вечно бегал по редакциям, разнося чужое и пытаясь пристроить свое. Коротко, почти налысо стрижен, серьга в ухе, выбрит до синевы. Изъяснялся он дроблеными фразами, замолкая после каждой на долю секунды, словно готовясь угодливо прерваться в любой момент. Недавно редактор газеты, где работал Аркадий, не выдержав нажима, опубликовал один мальчуковый рассказ. Назывался он вполне авангардистски – «Дефекация». На трех страничках мальчонка описывал, как он делает, рассматривает, обнюхивает и подтирается. Заканчивался текст призывом запастись туалетной бумагой, поскольку, не сумев достой-

но принять большую алию, Израиль скоро захлебнется в собственном дерьме.

Рассказ напечатали, позвонило полтора пенсионера, а мальчуган приволок ящик водки, напоил всю редакцию и чуть не сорвал выпуск следующего номера.

Второй был явно черновицким. Сам не понимая за что, Аркадий не любил представителей святого города-героя Черновцы. Он узнавал их сразу; на улице, посреди толпы, в автобусе, даже на пляже, среди сотен обнаженных тел. Когда-то в России он никак не мог понять, как из десятков одинаково одетых и в общем-то похожих людей, подвыпивший «гегемон» сразу находил «жида». А теперь понял.

Черновицких он выделял по алчному сверканию глаз, хищно заостренным носикам, вечно вынюхивающим добычу, беспардонной вьедливости, проникаемости в любую щель. Вот и этот, у стола, так и смахивал на хорька, пирующего в курятнике.

– Что пьем? – после сорока пяти Аркадий стал разборчивее относиться к заливаемой жидкости. Аккуратно опустившись на красный пластмассовый табурет – мебель у Берты комплектовалась на свалке и пользоваться ею надо было с особой осторожностью – он выжидающе поглядел на мальчонку.

Черновицкий приподнял бутылку в вытянутой руке, ощупал ее быстрыми движениями глаз и объявил:

– Водка «Отличная», Минздрав предупреждает, ответственность за употребление полностью возлагается на употребляющего.

«К врачу тебе пора, – подумал Аркадий, – к окулисту. Плюс пять у тебя, болезный, как минимум плюс пять».

– Так наливать?

– Наливай.

Закуска не баловала. Кроме наломанного кусками батона и безжалостно располовиненных помидоров, на тарелке, в промасленной бумаге красовалось нечто коричнево-белое и, судя по темным пятнам на обертке, весьма жирное.

Мальчонка, уловив взгляд Аркадия, услужливо пояснил:

– Сервелат-с. Остатки деликатесной роскоши.

Он кивнул в сторону Берты, как бы показывая, кому обязаны.

– Сервелат, – Аркадий отставил рюмку. – Религии я, ребята, чужд, но печень в последнее время барахлит. Есть чем заменить?

Берта ловко смела с тарелки злополучный сверток.

– А у меня картошечка поспела. Вы пейте, мальчики, я мигом.

Выпили. Дрянь еще та. Аркадий быстро подхватил половинку помидора – забить тоскливый вкус плохой водки. Помидор оказался до омерзения сладким, батон пересох и рассыпался на ломкие, колючие кусочки. Черновицкий держался молодцом: приняв дозу, он только крякнул, раздувая горло, как настоящая утка, и тут же закурил. Мальчонка осторожно отпил из стаканчика и, подражая Аркадию, подхватил половину помидора. Пошел явный негатив, отравка металась по периферии, решительно требуя закуски, а Берта все не шла и не шла. Но вот она появилась, прекрасная, словно юная Маргарита, с дымящейся кастрюлей на вытянутых руках.

– Действительно картошка, – Аркадий аж привстал от удивления. – Кто подвигнул тебя на гражданский подвиг, о чудесная кулинарка?

Берта не умела и не любила готовить. Питалась она и приятелей своих кормила дешевой едой из лавочек на рынке. Всякие замазки из хумуса и тхины, баклажаны в майонезе, полусырая пицца, готовый чипс и прочая дрянная снедь подавались на завтрак, обед и ужин, в будни и праздники. От неожиданной кастрюли запахло детством, воскресными обедами вокруг семейного стола, забытыми мечтами, утерянными надеждами. Аркадий воткнул вилку в бок здоровенной картофелине с бесстыдно задравшейся шкуркой и перекинул к себе на тарелку.

– Вот порадовала, вот удивила! Совсем, как большая. Достояна поцелуя и благодарности перед строем!

Берта улыбалась, горделиво озирая дело своих рук.

– Да так, стих нашел. Сама не знаю, почему.

– Ах ты, милая картошка-тошка-тошка, пионеров идеал, идеал! Пел Аркадий гнусаво, зато не фальшивя.

– Тот не знает насладенья-денья-денья, – подхватил, было, черновицкий, но тут же осекся под укоризненным взглядом Берты.

«Правильно, – подумал Аркадий, – что позволено Юпитеру... ну и так далее».

Мальчонка тоже ощутил неловкость момента и, дабы загладить бестактность товарища, предложил:

– А теперь – за хозяйку дома. За вдохновение. За свободный полет большой Берты!

«Какой там полет, какое вдохновение, – подумал Аркадий. – К искусству Бертины каракули имеют такое же отношение, как подставка для кофейника к запаху кофе».

Подумал, но спорить не стал.

Выпили. Крепко закусили картошкой. Деловито, без ненужных слов приняли еще по одной. Начало забирать. И жизнь показалось уже не столь удручающей и страшной, зал как-то распрямылся, стал выше и просторнее, припудренные морщинки на верхней губе у Берты тоже куда-то исчезли, а черновицкий, с его смущением и робостью, выглядел просто симпатягой.

– Откуда товарищ, – обратился Аркадий к мальчонке, подбодродком указывая на черновицкого. – Почему не знакомишь?

Мальчонка аж зарделся от удовольствия. Его словно посвятили в рыцари, нет, в рыцари рановато, но в оруженосцы – так наверняка, и это, столь искомое чувство принадлежности к цеху демиургов, заиграло румянцем на щеках.

– Черновицкий, – представился черновицкий, протягивая руку со стаканом.

– Да вижу, что не москвич, – отозвался Аркадий, крепко чокая своей рюмкой о стакан. – Красивый, говорят, город, просто маленький Париж.

Он улыбнулся самой широкой из своих улыбок и, внутренне дивясь собственному коварству, чокнулся еще раз.

Теперь настала очередь черновицкого краснеть от удовольствия. Разлетевшись на улыбку, он тут же начал плести об австро-венгерской архитектуре, чугунных решетках, садах возле старых домов, двориках, увитых плющом.

– Дворики, чувачки, ах, если бы вы видели эти дворики! – восклицал он, уносясь в прекрасное прошлое.

Аркадий внимательно слушал, кивая головой. Раскручивать, потрошить собеседников давно стало его привычкой, профессиональным вторым «я». Даже не задумываясь, он в нужных местах удивленно приподнимал брови или, сопереживая, морщил лоб.

Берта, осведомленная о симпатиях Аркадия, покусывала губки, еле удерживаясь от смеха. Но черновицкий ничего не замечал.

– А паркет! У нас в квартире был паркет, старый, еще австрияки клали. Раз в пять-шесть лет он начинал поскрипывать. Несильно, но вы ж понимаете... Отец вызывал мастерилу, пожилого еврейчика, по имени Шимон. Из комнаты выносили всю мебель, Шимон снимал порог и разбирал паркет по штучке, как лего. Без клея и гвоздей, все держалось на точной подгонке. Пол снизу был устлан ровными досками, пока их мыли, Шимон наждачкой полировал каждую паркетину. Не труд, а сплошная кончита. Когда пол высыхал, он собирал их, одну к одной, без гвоздей и клея, только ставил более широкий порог. После этого хоть дави изо всей силы, хоть колбасись и оттягивайся – ни стона, ни писка.

«Вот так и мы, – подумал Аркадий, – перевернули нас, кинули к новому порогу, собрали без гвоздей и клея и давят изо всех сил. И чтоб ни стона, ни писка...»

Пошляк, банальный, стареющий пошляк. В стократ умнее тот, кто при вспышке молнии не скажет: вот она, наша жизнь. Кто это, Ли Бо или Лу Синь? Они многое поняли в жизни, старые желтые китайцы с косичками. В отличие от нас, перекаати-поле. Жили себе в безграничной Поднебесной, смотрели, как луна купается в тучах над рекой, писали стихи, медленные, словно полет цапли. А мы? Призрачность, маскарадность и внутренняя пустота. Как в России перед Столыпиным, между двумя войнами. Впрочем, в Израиле всегда между двумя войнами... А местного Столыпина уже застрелили».

– Арканя, – Берта протягивала ему стакан воды, – Арканя, что с тобой?

– Нет, нет, ничего, просто задумался. Слушай, друг, – он с нежностью посмотрел на черновицкого, старый, безотказно работающий прием, когда нужно докрутить, расколоть собеседника, – а чего ты уехал из своих Черновцов? Оставил паркет, литые решетки, старинную архитектуру. На хрен тебе, извини, пали помойки большого Тель-Авива?

– Тут наша Родина, и мы должны ее любить, – выскочил малец, усмехаясь глумливо и стыдно.

«Дурак, – подумал Аркадий. – В России и я смеялся над этим

анекдотом, а теперь мне не до смеха. Какой уж тут смех, ведь это действительно наша Родина, но как же ее такую любить?»

Ему вдруг захотелось сделать что-то приятное черновицкому, наивному простаку с доверчивыми глазами. Работает, поди, фрезеровщиком на заводе, гнет спину посреди голимого железа, а нынешний разговор воспринимает как глоток воздуха, общение с богемой. Потом еще долго токарям будет байки рассказывать».

– Выпьем за парижан! – Аркадий поднял стакан. – За курчавых, картавых парижан с горбатыми носами. Лехаим!

Выпили. Малец, еле прожевав кусок картошки, принялся снова разливать.

– Я ведь тоже урожденный черновицкий, – поспешил он присоединиться к успеху. – Когда мне было три года, родители переехали в Кишинев. Так что вырос я в Молдавии. Но родились мы, – он дружески прикоснулся к плечу черновицкого, – в одном городе.

– М-м-м! – Аркадий застонал от восторга, – Черновцы и Кишинев, это же просто золотой сплав, настоящая альгамбра!

– Амальгама, – робко поправил черновицкий.

– Пусть амальгама, – Аркадий развеселился и потому подобрил. – Какая, на фиг, разница, главное, что красиво!

Все заулыбались, и, отвечая на улыбки, Аркадий вернулся к причине застолья.

– Пошто гуляем, братие? Повод есть или вообще, в честь приятного климата и высокой зарплаты?

– Поминки у нас, – отозвался мальчонка. – На скаку потеряли товарища...

– Кто, кто умер?

– Македонский. Помнишь, был такой графоман философ.

– Как, – ахнул Аркадий, – Алекс Македонский?

– Увы, – склонил голову черновицкий, – увы и ах.

«Саша... В последний раз он позвонил откуда-то с севера, кажется из Цфата. Говорили недолго, прощаясь, он сказал:

– Жди, скоро увидимся.

Когда теперь увидимся, и где? И сколько осталось ждать?»

– Итак, помянем, – черновицкий призывно поднял стакан, – за упокой души и на вечную память.

«Саша.... Фиглярствую и куражусь, а его уже нет и никогда

не будет. Вот так и о тебе вспомнят, как ты вспоминаешь о нем».

– А как это случилось и когда?

– Что случилось? – не поняла Берта.

– Саша, Македонский.

– А просто, – опять влез мальчонка. – Сочинил новую тягомотину. Еще глупее прежней. Понес советоваться. Объяснили ему – не пиши, Сашок, не мучай собачку. А он возьми и напечатай. После издания такой чуши в моих глазах он скончался.

– Та-ак, – Аркадий стал потихоньку соображать, о чем идет речь. – Книжка ладно, книжка туда, книжка сюда, с ним-то что?

– Да ничего с ним, – наконец сообразила Берта. – Живехонек, целехонек, здоровехонек. Живет в своем Цфате, наслаждается горным воздухом и молодой женой-сефардкой...

Стало скучно. Ну просто совсем, до самого дна зеленой, илистой скуки. Когда-то давно, у костра в стройотряде, Аркадий спросил хорошего приятеля о самом заветном, любимом, недоступном. Было такое желание в молодости – говорить по душам. Особенно у костра, глубокой ночью, когда дрова уже прогорели и по жару углей молниями проскакивают искры.

– Парить над толпой, – ответил приятель.

Умом Аркадий принял, но сердцем не понял, посчитав приятеля снобом и зазнайкой. А вот сейчас, спустя столько лет, пришло понимание.

Ругать или объяснять что-либо этим придуркам не было ни сил, ни желания. Дешевая муравьиная возня, суета бесполезных букашек. Он смотрел на них сверху, возвышаясь, а может, действительно паря над бездарной убогостью игры. Делать тут больше нечего...

– Двадцать два.

– Что-что? – переспросил мальчонка. – Уже рецензию, прости-те, некролог, в журнале успели поместить?

– Перебор, говорю, перебор.

Аркадий встал, сухо кивнул головой и двинулся к выходу. Берта, привыкшая к его закидонам, молча шла следом. Выйдя за порог, Аркадий остановился. Полуприкрытая дверь отделила его и Берту от подвала.

– Дура, – сказал он, укоризненно смотря ей в глаза, – пускаешь в дом всякую шушеру.

Глаза Берты слегка сузились.

– А я думала, тебе понравятся мои любовники...

– Как, эти двое?

– Нет, трое.

«Вот змея, не сдержалась все-таки. Весь вечер молчала, хорошая девочка, и вот, не сдержалась. Таких надо учить на месте, не отходя от тела».

– Берта, – он закашлялся, словно преодолевая нерешительность, – я, собственно, к тебе по делу. Хотел рассказать, поделиться... Трудно тащить в одиночку, а тут эти придурки, словом не перемолвишься...

– Арканя... Чего ж ты молчал, дурачок, я бы их выгнала, поговорили б. Может, и сейчас не поздно... возвращайся... я мигом устрою.

– Да нет, неудобно. Вот послушай, я в двух словах. Послушай, а потом созвонимся.

Он снова закашлялся, на сей раз без труда, то ли войдя в роль, то ли действительно смущаясь. Берта прикрыла плотнее дверь и внимательно смотрела на Аркадия. В конце улицы деловито сновавали сборщики мусора, самоуверенный базарный кот неторопливо возвращался из рыбного ряда. Холодный свет луны переливался в его распушенных усах.

– Я шпион, провокатор, – тихо произнес Аркадий. – Казачок засланный. Внедряюсь в религиозную террористическую группировку.

Он помолчал.

– Все вроде нормально... но сегодня я почувствовал, что меня подозревают. Ты понимаешь, чем это пахнет.

– Аркашка, – Берта испуганно прикрыла рот рукой, – Арканечка, ты совсем спятил. Ты ж иврита совсем не знаешь, какой из тебя провокатор?

– Я под раскаявшегося канаю, – сумрачно произнес Аркадий. – Под вернувшегося к религии. Хожу в ешиву, ношу кипу. Пока сходит нормально. И знаешь, – он с нежностью заглянул Берте в глаза, – это вовсе не так глупо, как представляется со стороны.

– Возвращенец! – ахнула Берта. – Так вот почему ты отказался от сервелата, я-то думала, шиза давит, а оно, гляди, куда покатилося.

– Дура! – во весь голос закричал Аркадий. – Поверила, дура! Сколько спермы на тебя извел, сколько сердца отдал – а ты поверила!

Он повернулся и бросился вниз по улице, злобно топча ногами мусор.

– Дурачок... – Берта плакала уже по настоящему. – Любовники... и ты поверил! Вернись, куда ты бежишь, дурачок!?

Но Аркадий не слышал. Домой, ему вдруг отчаянно захотелось домой. Не в сырую квартиру, снятую за полцены рядом с арабским районом, которую он официально указывал в качестве адреса, а в светлый дом, с голубыми занавесками, замирающими на сквозняке. Стать, как все; уходить в пять с работы, выбрасывая из головы производственные проблемы, чтоб ждала жена, теплое, любящее существо, дети, нет, один, одного хватит, ужин, телевизор, газеты – ха-ха-ха – спокойная любовь перед сном в чистой постели. Мещанский быт, над которым он всю жизнь подтрунивал и смеялся, вдруг превратился в желанную, но недоступную сказку, мираж перед глазами заблудившегося в пустыне путника.

«А ведь было все это у тебя, было: и жена, и ребенок, и чистая квартира. И работа была, престижный труд сценариста-эстрадника, поездки, знакомства. Но ведь как грыз ты ее, жену свою, как мучил, терзал. Изменял с каждой допускавшей до себя самкой, о свободе кричал, просторе для творчества. Вот сейчас у тебя свободы хоть отбавляй и простора навалом, чего же стонешь, чего бьешься о борт корабля?»

Он потер щетину на подбородке и прибавил шаг. Освещенная Алленби осталась позади, Аркадий погрузился в полутьму Керем Хатейманим, привычно продираясь сквозь путаницу коротеньких улиц. Разноцветные огни причудливых вывесок хорошо освещали дорогу. Говорят, раньше в каждом втором доме тут была синагога, но времена изменились, у публики возникли иные запросы и теперь вместо синагог – рестораны.

«Не любил, оттого и мучил. Злой был, на нее, на себя, бесталанного. А пил для того, чтоб проснуться утром, в мерзости и

паскудстве, и выплеснуть злобу свою на страницы очередного скетча. Ведь иначе не писалось, то ли потому, что жил не с той, а может, оттого, что занимался не своим делом.

Но какое оно, твое дело? Ведь сроду другого не умел, как составлять слова в цепочки, играть ими, будто кистенем, или опаживать, словно черный невольник, лицо утомленного султана. Невольник, негр, литературная моська... Ничего, он еще напишет свою Книгу, главную, обо всем. И кровь будет в ней, настоящая, большая кровь, и страсть, и эротика. Ее будут читать в каждом доме, упиваясь, вздохнув, взасос... Он знает, как угодить и домохозяйкам, и интеллектуалам. Одним достанется интрига в голливудском темпе, другим – love story Андрея и Пьера.

Расставания и встречи, приливы и охлаждения. Он прилипчив, словно скотч, неуклюжий, простодушный Пьер. Уйти от него можно лишь в небытие или к женщине, что равносильно небытию. Андрей делает предложение трепетной курочке с голубыми глазами. Курочка счастлива, но вскоре доброжелатели доносят ей правду, она пытается бежать с другим, ее ловят, возвращают. Дело потихоньку движется к свадьбе, тут начинается война, и Андрей погибает. Безутешный Пьер женится на невесте друга, рождает с ней кучу детей и живет здоровой жизнью хлебосола и книгочоя. Но каждый раз, совокупляясь с женой и зарываясь в нежный пушок ее губ, он представляет холеные усы погибшего друга и рычит от неуголенной страсти».

Аркадий оступился: скользнув по гладкому боку бордюра, подошва сорвалась на мостовую. Взрыв от боли, он плюхнулся на тротуар. Над головой зашелестели крылья: как видно потревоженная стая глубей вспорхнула с карниза. Растирая щиколотку обеими руками, Аркадий продолжал скулить, словно потерявшийся щенок.

«И не так больно, как нелепо и обидно: обидно за ногу, и за собачью работу, и за опостылевшее одиночество. Когда же все это кончится, когда настанут лучшие дни? И ему полагается немного счастья, он его заслужил.

Заслужил... что значит заслужил? Значит, есть кто-то, раздающий награды и отвешивающий наказания. А иначе перед кем они, эти заслуги?»

Он перестал рычать.

«Ого, Берточка, ты даже не подозреваешь, насколько попала в точку. Надо взять себя в руки и идти домой. Душ, стакан холодной колы. И спать, спать...

Набережная. До Яффо еще минут пятнадцать, плюс десять вдоль бульвара, и он дома. Полчаса прогулки вдоль моря, одна польза и ничего, кроме пользы. Дыши глубже носом, и все пройдет».

Они шли ему навстречу, улыбаясь и похохатывая, молодые, с ровным блеском зубов в расщелинах курчавых бород. Белые рубахи, не заправленные в брюки, большие кипы на головах и кисточки до колен. Откуда взялась она, теплая волна страха, накатила из глубины пищеварительного тракта и ударила по щекам? Аркадий побежал, не понимая, куда и от кого.

Отпустило только перед самым Яффо. Он оглянулся – ничего себе пробежка. Давненько не приходилось так шуровать, наверное, со времен школьных кроссов. Увы, пора обращаться к врачу. Если бегать от первого встречного с кипой на голове, то лучше на улицу не выходить вовсе.

Аркадий сел на скамейку, откинулся поудобнее на жесткую деревянную спинку и закурил. После второй затяжки засвербело, закололо в горле, словно кто-то щекотал его изнутри кончиком гусиного пера. За щекоткой пришел кашель, заядлый, тугой кашель, рвущий на куски и без того утомленное горло. Он бросил сигарету и, продолжая кашлять, злобно растер ее ногой.

«Сам виноват. Во всем виноват только сам. Мог бы жить по-другому, встречаться с другими людьми, любить других женщин. Как демиург, создал собственный мир, населил его своими героями, а теперь мечешься между опостылевшими персонажами. Но, в отличие от книжных, они не уходят со сцены, даже если перевернуть страницу. Даже если запереть книжный шкаф, закрыть глаза и заткнуть уши. Они преследуют тебя, твои герои, твоё порождение, литература, которая всегда с тобой.

И Берту ты придумал, сочинил и пустил гулять по свету. Она ведь совсем уже не девочка, твоя Берта. Как ни припудривай, как ни маскируй, морщинки на верхней губе выдают возраст. И зубы

пора лечить, ох, как пора. Хоть и бешеные деньги, но дыхание любви тоже чего-нибудь стоит.

Маленькая собачка, добрая маленькая собачка... И секс с ней – давно уже не любовное соитие, а скорее акт дружбы и сочувствия».

Аркадий машинально достал новую сигарету, закурил, глубоко затянулся. Кашель не повторился.

«Ты ведь и возвращался к ней из-за этого, из-за тех минут после, когда уже ничего не хочешь и надо говорить, а с ней можно молчать, и это молчание лучше любых слов. В одну из таких минут она рассказала тебе правду, но ты постарался забыть, вынести за скобку, как перебор, чересчур яркий эпизод.

Ее изнасиловали, Берту, мальчишки из старшей группы пионерлагеря. Акселераты, твердые и горячие, словно раскаленное железо.

Один из них пригласил ее погулять в роще, и Берта пошла, трепеща, на первое свидание в жизни. О чем мечталось ей в недолгие минуты ожидания, о чем грезилось? Он привел с собой двух приятелей, и они терзали ее весь вечер с беспощадностью часового механизма, помноженной на энергию паровозного шатуна.

Милиция открыла дело, но родители акселератов уломали отца Берты взять деньги и забрать заявление. Отец давно мечтал о машине, инженеришко, винтик на заводе, ему отсчитали всю сумму наличными, и Берта согласилась.

В августе они поехали в Крым, всей семьей, на «Москвиче», стареньком, но еще хоть куда бойком, и в Крыму его украли, на второй день. Обрато возвращались поездом, ветер из окна трепал волосы отца, уже совсем седые, Берта смотрела на его осунувшееся лицо и жалела до боли в животе. Потом у нее началось воспаление, эти подонки нарушили ей что-то, и после года процедур и проверок пришлось удалить матку.

Она ждет его, Берта, который уже год ждет, но он ничего не может ей дать. Эмоции ушли из его организма вместе со словами, их обозначавшими. Он размазал, распластал себя на тысячах газетных страниц, ему нужно собирать себя заново, по кусочкам, словно разбитую мозаику».

Сигарета кончилась. Аркадий бросил окурочек и решительно двинулся в сторону дома.

«Хватит. Так дальше жить нельзя!»

Он провел рукой по подбородку.

И побриться. Давай начнем с малого. Немедленно побриться!» Аркадий шагал вдоль аллеи, размахивая руками. Невидимые птицы шуршали крыльями среди ветвей. Тень бежала перед ним, сокращаясь и убывая, прыгала под ноги, исчезала за спиной и снова вырастала, чтобы опять исчезнуть у следующего фонаря.

Шуршание над головой усиливалось, превращаясь в центральную тему. Остановившись, Аркадий подхватил с асфальта жестянку из-под «Колы» и рассерженно запустил в крону ближайшего дерева. Шуршание смолкло, белое перо выскользнуло из темноты и мягко спланировало под ноги Аркадию.

«Вот так, резко, четко, точно. Так нужно жить, а не размазывать слюни и сопли. Так, вот так, вот так».

Ему нравились собственная решительность и вообще он сам, прямой и способный к переменам. И даже эти, в кипах, тоже нравились ему. Честно говоря, он даже слегка завидовал их убежденности в собственной правоте, сплоченности вокруг общей идеи.

«И я бы мог, – пометил Аркадий где-то на краю сознания, – быть увлеченным, бегать, доказывать, спорить до хрипоты. Пусть другие смеются, а он целостен в хрустальном доме своей веры, и она греет его, эта целостность, растопляя осколочки льда в глубине сердца. За те же деньги можно жить в стране, что тебе нравится, дружить с людьми, которые тебе по душе, любить тех, кто тебя любит. Стоит только сменить угол зрения – и ты уже в другом мире».

Вот и его парадная. Грязная лестница без света, выщербленные ступени. Влажная духота, пропитанная кошачьей мочой. Опять не поворачивается ключ.

«Сколько раз говорил тебе, смени замок! Надо, надо, крути теперь ключ до ломоты в пальцах, сдирай кожу. Тьфу, придурок, лентяй, образина небритая, крути, крути, пока не поумнеешь!»

Замок вдруг щелкнул, дверь резко распахнулась, и Аркадий

влетел в маленькую прихожую. В доме стоял густой дух забытого мусора.

«До утра придется этим дышать», – взвыл Аркадий. Прикрыв дверь, он бросился в кухню, распахнул настежь окно и, выдернув из-под раковины пластиковый пакет, швырнул вниз. Пакет мягко чавкнул, приземлившись на асфальт, и развалился. Окурки, объедки и прочие отходы жизнедеятельности рассыпались по тротуару.

«Гори оно все огнем», – решил Аркадий и пошел в душевую. Пальцы, натертые ключом, нестерпимо саднили. Он включил воду и сунул руку под струю.

«Звери, мойте лапы...»

В треснутом зеркале шкафчика покачивалась невыбритая, пьянькая физиономия.

«Зверь, иностранный рабочий. Поденщик на литературных плантациях. И чем ты лучше того румына? Тот хоть дома строит, а ты производишь грязную, перепачканную краской бумагу, о которой на следующий день уже никто не вспомнит. Кстати о памяти, не худо и побриться, как ты думаешь?»

Намыливая щеки, он с плохо скрываемым отвращением рассматривал себя в зеркало.

«Ну и рожа. Стареющий неудачник, борзописец и пьяница. Отечество – бросил, родной язык – променял на басурманское курлыкание, семью – развалил. Остался только долг – жить и страдать, и ты должен его выполнять.»

Знакомые слова. Вообще, все слова ему давно и хорошо знакомы. Он их или писал, или читал, или, по меньшей мере, произносил. Круг замкнулся, новых знакомств больше не предвидится.

От всей его интеллигентности остался только хороший русский язык. Но кому он нужен, его язык, особенно здесь, в Израиле? Да и в России сейчас изъясняются на чудовищном воляпюке; блатном, фатовом, системном – каком угодно, только не так, как он привык думать и писать. Интересно, куда подевались полчища корректоров, редакторов и главлитов? Неужели все они торгуют сладостями и гигиеническими прокладками?

Редакторы... Перед отъездом знакомый редактор толстого журнала вдруг разоткровенничался:

– Куда угодно уезжайте, – он говорил ему «вы» и регулярно печатал, часто вопреки мнению редколлегии. – Куда угодно, в Бразилию, Антарктиду, к черту на рога. Русская интеллигенция привыкла жить с мыслью об эмиграции. Будете как Герцен, Набоков, Бунин. Только, упаси вас бог, не в Израиль. Тогда вы чужой, табу. Послушайте старого, седого русака – не хороните себя и свой талант».

Кому он должен? И за что? За глупую, бессмысленную тоску, именуемую жизнью? Он не нуждается в такой милости, он может отдать ее обратно, целиком, без сдачи, таким же щедрым жестом, как состоявшееся без его ведома и спроса рождение».

Затупившееся лезвие фамильной бритвы со скрипом ползало вдоль щеки.

«Опять забыл наточить. И это забыл. А жест действительно получается красивый. И совершающий его сравнивается с тем, кто совершил первый, непрощенный жест, а значит, вырастает до таких же размеров».

Он перевернул бритву и, словно примериваясь, несколько раз провел тупым концом поперек горла. Туда-сюда, туда-сюда.

«Не осел, с тоскою влекущий телегу, нагруженную камнями, а гордый человек, личность, своею рукою обрывающий теснящие грудь помочи».

Он посмотрел в глаза человеку с бритвой у горла и вдруг замер. «Г-споди, да ведь все это он уже читал, конечно, читал, и про курсистку, и про шпиона, и про бритву. Он даже помнит, где именно...»

Аркадий стер полотенцем пену с невыбритой щеки и ринулся в комнату.

«Вот он, знакомый томик, оглавление, кажется, это было здесь – да, конечно, Андреев, «Нет прощения»...

Разжалован. Одним небрежным щелчком по носу его низвели из демиурга в персонажи. Не только слова, но и жизнь, вся его оригинальная, неповторимая жизнь, оказывается, уже записана кем-то на белых квадратиках беспощадной бумаги. Откуда-то возник, проявился развеселый мотивчик и закрутился, зазвенел в ушах.

Раньше был Аркадий журналист прекрасный,
А теперь Аркадий персонаж несчастный».

Он опустился на диван и замотал головой. Через минуту мотивчик исчез, но вместо него навалилась усталость.

«Завтра, – зашептал Аркадий, сонно покачивая головой, – завтра, с утра – и в ешиву».

Не веря собственным словам, он несколько раз повторил их, пробуя на вкус каждую букву, примеряя на себя завтрашний день. Увы, возбуждение, вызванное алкоголем, схлынуло без следа, прихватив остаток сил.

«Или послезавтра, сперва отдохнуть, придти в себя. А жизнь – она длинная, длинная, длинная...»

Решительность большой птицей метнулась в окно и исчезла, разочарованно шелестя крыльями.

С трудом поднимая руки, Аркадий стащил рубашку и шорты и, уткнувшись носом в диванную подушку, поплыл, закачался на мягкой волне сна. Завтра все уйдет, забудется, растает, он снова забарабанит по клавишам компьютера, словно заяц из рекламы батареек "DuraCell", выкурит свои полторы пачки, выпьет шесть чашек кофе и вместе с секретаршей посмеется над собственной наполовину выбритой физиономией.

Через распахнутое окно донесся скрип тормозов. Голос Замира четко произнес:

– Объект погасил свет, видимо пошел спать. Подождем до утра.

Аркадий спал. Электронные часы на его руке бойко высвечивали мгновения ночи. Завтра ему предстояло написать фельетон, обзор новостей, три стихотворения и критическую статью о Тель-Авивском клубе литераторов.

Бесцеремонно спроваженный мальчонка грустно поплелся на автобус.

«Все им: наша публика, наши гонорары, наши женщины. Налетело этих гастролеров, словно навозных мух. Каждый день – дружная знаменитость, не продохнуть от блеска орденов».

Автобус на центральную станцию подошел почти сразу. Маль-

чонка оглядел полупустой салон и бесцеремонно уселся напротив красотки восточного типа.

«И наши мэтры хороши... Дальше собственного носа не видят. А в учителя лезут, в наставники!

Ниспровергатели основ! За жалованье в шекелях скулят о прелестях утраченного Хозяина. Статьи строчат с оглядкой на него. Книги стряпают для него, любезного. В подполье, тиражом пятьсот экземпляров, как шпионское донесение. Мол, придет время – оценят. Добровольные резиденты русской культуры в изгнании. Держите карман! Вся беда, что новому Хозяину вы без надобности».

Мальчонка поднял голову и не стесняясь принялся рассматривать соседку.

«Заезжий Мастер и провинциальная Маргарита. А рассказ сложился и уже стоит перед глазами. Четкий, словно восклицательный знак. Только бы хватило слов. Завернуть, закрутить, выставить. Достичь бы такой густоты, как волосы этой красотки, ясности и простоты, на уровне белизны блузки».

Соседка, заметив взгляд мальчонки, нахмурила брови.

«Религиозная недотрога. Развелось их... Но хоть красивая. Лицо сияет, как у ангела. С такой и согрешить не грех. А то и жениться... Жены из них хорошие, если приручишь».

Он представил себя рядом с ней, в большой вязаной кипе и курчавыми пейсами вразлет. А дальше пошло, покатило само собой: дом в Галилее под высокой крышей из красной черепицы, куча смуглых детей, похожих на него и на красотку, счастливое лицо жены среди кастрюль и пеленок, ночные бдения у компьютера, он напишет свою книгу, настоящую, большую, и на равнина выучится, эка невидаль, не сложнее кандидатской, ученики, последователи, он выходит благословить народ перед субботой и, привычно сложив пальцы щепотью, осеняет... Нет, это уже не от туда. Хотя, какая разница, восторги культа везде одинаковы, разница только в атрибутике. Но жена-сефардка! Вот если б согрешить без обязательств, тогда пожалуйста».

Он перевел взгляд на ее грудь, довольно отмечая, как румянец стыда заливаает красотино лицо.

Черновицкий вернулся в гостиницу под утро. С наслаждением, глубоко втягивая холодный кондиционированный воздух, прошелся по мягкому ворсу ковра и, беспорядочно разбрасывая одежду, устремился в душ. Самолет домой, в Москву, уходил в шесть вечера, можно было совершенно роскошно поспать и поработать. Мелодия главной темы еще не оформилась окончательно, но уже висела тучкой у виска, обещая вот-вот разразиться благодатным ливнем на нотные линейки.

«Ну и темперамент у этой Берты, – думал он, крутятся под колючим душем. – Отдача, как у пушки. Хоть по Парижу пали!»

Черновицкий завернулся в полотенце и, оставляя за собой мокрые следы, вышел из ванной.

«А вообще, забавно получилось. Хоть и не стоило так явно гнать пургу, но все равно – забавно. Особенно с этим напыщенным журналистишкой. Простой, как карандаш без резинки, а кочукает за троих».

Он бросил полотенце на пол и, не стесняясь наготы, подошел к окну. Тело у него еще хоть куда, выпуклые мышцы груди, поджарый живот. Лыжи, Сандуны, правильное питание.

«Вторичность, вторичность – вот основная проблема провинции. Но тексты у Берты забавные. Ей бы в Москву, может быть, тогда и взлетела...»

Рукопись Берты, аккуратно свернутая в трубочку, лежала на краю стола. Черновицкий подхватил ее и, не целясь, бросил в корзинку для мусора.

«Не горят, говорите... Может, и не горят. Жаль, что про авторов такого не скажешь. Искусство – оно как бой гладиаторов. Побеждает сильнейший. Вот такая простая истина...»

Он с удовольствием похлопал себя по крепким ягодицам.

«Понятие «культурный человек» включает в себя и культурное тело. Кто сказал? Не помню, но сказал хорошо.

В смысле культуры Израиль, конечно, провинция. Типа Воронежа или Самары. Жратвы только больше. Но и гонору... я ведь для них Мастер, мэтр из столицы. Им со мной за один стол сесть – как ангела встретить. Чего ж они гоношатся, как пристебнутые. Неужели эти второсортные лабухи искренне считают себя избранным народом?

А Берту жаль. Связалась, дурочка, с Межировым, тот сам увяз и ее за собой тащит. Фамилия, однако... Псевдоним нужно брать с такой фамилией».

Черновицкий замер.

«Вот оно, ну конечно, как сразу не догадался. Ми мажор, просто перейти в ми мажор!»

Мелодия созрела окончательно. Он выхватил из «дипломата» ручку, распахнул роскошный кожаный блокнот с тисненой надписью на обложке «Михаил Черновицкий» и, словно воробьев на проволоку, принялся усаживать ноты вдоль ровных полосок линейки.

Перед окном гостиницы перевернутый полумесяц баюкал в своей колыбели молодую звезду. Два патрульных вертолета, пригнув носы к земле, будто поисковые собаки, плыли над побережьем. За желтой полосой пляжа медленно и важно шевелилось Средиземное море.

Оставшись одна, Берта забросила грязную посуду в раковину – полежит до благоприятной минуты, не скиснет – поставила Пятый Бранденбургский и улеглась на тюфячок. Курила, глубоко затягиваясь, подолгу задерживая дым в легких.

«Мне хорошо, – думала Берта. – Мне нравится эта квартира, и этот город, и эта страна. У меня много друзей, хорошая работа, мне пишется и любит. Я счастлива, счастлива, счастлива...»

Голубые завитки дыма медленно поднимались к потолку, неслышно растворяясь в полумраке. Берта всматривалась в причудливые клубки и разливы, с легкостью выделяя знакомые очертания. Голубой дом с замирающими на сквозняке голубыми занавесками, голубой порог перед голубой дверью, а за порогом, смущаясь, переминается с ноги на ногу голубой ангел с лицом Аркадия, и в руках его бьется и трепещет пионерский костер.

НОСЫ МАРСИАН

– Как это можно?! Как это можно?! – запричитали они. – Как это можно бросить в человека банку за то, что у него нижняя губа в повидле?!

– Верхняя! – поправил я. – Когда ешь хлеб с повидлом, приглядывай за верхней!

Они смотрели на меня шестью испуганными глазами. И только один из шести этих глаз, левый деда, мигнул. Дед у нас левша.

Тут вошла Милка и тоже приготовилась слушать. Ее любопытный нос поглядывал свысока и совсем не в ту сторону, куда смотрели глаза. Эти любопытные носы! Им кажется, что все только и занимаются тем, что изучают их. Когда сестра моя чувствует, что нос ее подвергается осмотру, она начинает говорить громко, с милой своей картавостью, от которой осыпается штукатурка.

Теперь-то я понимаю, что потерпевшего завлек в наш дом ее нос. Сам он, видите ли, тоже был человеком с носом: на том месте, где у Милкиного носа горбинка, у его носа ямина. Все начиналось и заканчивалось ноздрями. Как оскандалилась природа! Они с Милкой свирепо пялились друг на друга. С наших потолков начинало сыпаться. Он вострепнулся, когда это заметил, и с милой своей мечтательностью стал ловить в ладони порхающие мелочки. О чем может мечтать такой нос, вскоре выяснилось.

Я тоже стал забавляться потолочным дождиком. А почему бы нет? Но Милка считала иначе – она запнулась, замолчала, и белые пластиночки перестали падать.

Я увязался за ним на улице: никак было не отлепиться. Он

рассказывал о новом изобретении, крылышках таких, наподобие стрекозиных: включаешь и летишь. Откуда он об этом знает? Прочел в журнале „Внимайка“. Что же это я не читаю журналов?

Я сразу же подумал о Птенчике: как хорошо нам будет с ним летать! В общем, я и сам не заметил, как уцепился за его карман. Он занервничал: „Не хватай меня за карман! – закричал. – Завтра! Слышишь, завтра! Я почитать дал!“ Я вернулся домой и подсчитал, сколько часов осталось до „завтра“. Птенчику я, конечно, позвонил и все рассказал. Он захлопал крылышками: „Наконец-то! – пропищал. – А то ведь наша корзина на три ноги.“ Это верно: четвертую ногу мы поджимаем.

На следующее утро мы разыскали потерпевшего в школе, а он опять: „Завтра!“ Три раза он нас прогонял, а на четвертый объяснил, что журнал называется не „Внимайка“, а „Привирай-ка“. Он подозвал двух своих друзей с носами такими же, как у него, и говорит: „Щелкнем их по носу!“. Один из его дружков щелкнул нас, а другой сообщил, что поместит наши фотографии на почетном месте в их коллекции носатых кретинов.

Мы с Птенчиком после этого разошлись и на следующий урок не пошли. Я не расспрашивал его, чем он занимался. Я догадываюсь: плакал.

Во время нашего плача на разных этажах я понял, что самая большая обида в моей жизни уже позади. И мне стало легче. И я подумал, что никогда даже не посмотрю в его сторону. И от этого мне стало еще легче. В класс я вернулся с улыбкой. Я ее не принуждал, она сама расцвела. Смотрю и Птенчик мне улыбается.

А он дня через три пришел взглянуть на нас. Но мы не стали его замечать. Он спросил: „В чем дело?!“. А мы не ответили. И он начал нам напоминать о себе. „Эй-эй! – выпрыгивал по дороге в школу. – Как дела?“. А мы себе шли в обнимочку. И нам не надоедало мстить ему.

Но в тот кровавый день он появился совсем некстати. Мы как раз выложили стеклотару из корзины и начали взлетать, а он – как метеорит на пути: стоит за штакетной изгородью и ест хлеб с повидлом. Птенчик говорит: „Верхняя губа в повидле!“. А я отвечаю: „Страшное дело! Как бы нам не шлепнуться.“ Но кое-как мы облетели эту губу.

Мы приземлились на марсианском стадионе. Там как раз проходили соревнования по легкой атлетике.

Вы, конечно, хотите знать, как выглядят марсиане. Ничего особенного, щупленькие. Вот только носы подлиннее наших. Мы разделись и стали побивать марсианские рекорды один за другим. И вот, когда пал рекорд по прыжкам в длину, мы услышали голос: „Скелеты! Вы зачем джинсы сняли?“. Марсиан не стало. Вместо них мы увидели губу в повидле. Я подобрал банку из-под абрикосового джема и запустил в эту проклятую губу. Но банка угодила в нос. Полилась кровь. Его мама, такая же скандальная, как и он, вывалилась в окно. Какие уж там рекорды после этого.

Дед был задумчив. Он анализировал. Он переспросил, из-под какого джема была банка, и опять задумался, посапывая в свой нос, который он вполголоса, так, чтобы не слышали наши враги, называет дикорастущим. Мама с бабушкой сидели и ждали, когда наш Шерлок Холмс закончит свои выкрутасы. Дед поразмышлял еще с минуту и сказал, что, пожалуй, ему понятно, как это можно метить в губу, а попасть в нос. Мне всегда нравилось это в деде, сначала подумать, а потом сказать. Мама и бабушка этого не умеют. Понятно, они завопили, что им никогда этого не понять. Никогда! Мы с дедом закивали: конечно, никогда. Дед подмигнул мне слева и спросил Милку: „А ты? Ты, я надеюсь, поняла?“. – „Цистерна ему на голову! – сказала Милка. – Что тут понимать! И мне бы хотелось знать, какие у марсиан носы.“ Я нарисовал ей марсианский нос. Милка посмотрела и сказала: Какие милые люди!“ Мы с дедом не поддержали ее. Мы ей устами деда напомнили об одном длинноносом мерзавце, который случайно оказался ее папой, но, к счастью, исчез и уже пять лет носа не кажет. „Все дело в том, как человек ест,“ – подытожил я.

Но я ошибался. Проблема эта чрезвычайно запутанная.

Недели две я их не видел, нашего скандалиста и его непредставимого носа. Когда же я встретил их, то не узнал ни того, ни другого. Пришлось взглянуть на них новым взглядом. Он улыбался мне милой своей мечтательной улыбкой. Он объяснил, что доктор решил не возвращать прежней формы его носу. Он и его мама не возражали. Новый его нос – греческий. Он повернулся

ко мне в профиль и сказал, что он не прочь, чтобы я его щелкнул.

Я тут же и расспросил его, в какой больнице работает доктор, умеющий делать греческие носы. Кто скажет, что я плохой брат?

Бен-Барух

ЗЕМЛЯ ОБЕТОВАННАЯ

Гносеологический опыт

Мы настолько привыкли доверять тропам, по которым ходит наша тренированная мысль, что опасаемся ступить с них, словно по бокам топкое болото или минное поле... Сделав с Бен-Барухом шаг в сторону, остаешься, однако, цел и вдруг обнаруживаешь себя в пространстве, где мысль, гуляя, подобно киплинговской кошке, сама по себе, озаряется вспышками истины, еще не забредавшей нам в голову. Философия здесь не мудрствование, но как бы иной способ дыхания: ему стоит поучиться — и многое видишь по-новому, а мыслить по-старому уже представляется непродуктивным.

Автор этой небольшой, но емкой книги, выступающий под псевдонимом Бен-Барух, много лет знаком читателю журнала „22” своими эссе — иногда спорными, но почти всегда запоминающимися. Книга соединяет в один пучок силовые линии его размышлений. Может быть, именно для того, чтобы возникли эти силовые линии, ему следовало оказаться здесь, на Земле Обетованной...

65 страниц, Иерусалим 1999.

World Association for Studies of Interaction of Cultures

Цена 18 изр. шек., с пересылкой — 23 шек.

Цена за рубежом \$7,5 (включая пересылку).

Заказы по адресу:

Евгений Фумбаров, P.O.B. 11213, Jerusalem 91111.

Tel. 02-6766552

ЛИТЕРАТУРНАЯ РЕФЛЕКСИЯ

Марк Холмянский

КТО ПИШЕТ ЛУЧШЕ – ЛЕРМОНТОВ ИЛИ ПУШКИН?

(А. Гольдштейн, «Лучшее лучших»,
газета «Окна», 22 и 29 апреля 1999 г.)

Этот сакраментальный вопрос долго мучил меня в детстве. Взрослые объясняли, что если писатель настоящий, то своеобразие делает его ни с кем не сопоставимым. Я не очень понимал суть объяснений, но желание расставить по ранжиру писателей, музыкантов, художников и ученых так и не прошло. Такое желание, видимо, было у многих, но все имели своих наставников и, значит, знали о недопустимости такой процедуры. Л. Ландау, великий физик и шутник, все-таки решился сочинить список выдающихся физиков. Список этот был невелик; физики не стояли в нем в колонне по одному, а делились на классы. А в канун нового века нашелся и у нас смельчак, который выделил группу писателей числом 50 и их лучшие произведения. Не трудно догадаться, что этим смельчаком оказался А. Гольдштейн. В предисловии было объявлено, что выделены будут только романы, но автор, видимо, забыл о своем предуведомлении, и в ход пошли произведения самых разных жанров.

Когда речь заходит о произведениях искусства, привычны два вида отзывов на них. Чисто субъективный, когда об огромном произведении можно сказать предельно коротко: „здорово!“ или „дрянь“. И обоснованный анализ, с претензией на объективность, при котором оценки выступают как плод тщательных исследований.

Из назиданий моих наставников следовало, что второй путь необходим, но категорических оценок давать не должен и не может

иметь. Уже решившись на составление „Списка 50“, А. Гольдштейн так и не смог решить: делает ли он список своих пристрастий или отобранные им писатели и их произведения действительно, объективно являются лучшими. Рассуждения его по этому поводу слегка напоминают разговор Панурга с Пантагрюэлем. Гольдштейн словно бы раздвоился: Г1 совершенно уверен, что Список всего лишь плод личных пристрастий, Г2, напротив, не сомневается, что Список – результат объективного выбора. Разговор А. Гольдштейна с самим собой звучит так:

Г1: „Основанием предпочтений послужила разнuzданность личного вкуса“.

Г2: „Автор отказывается считать свой отбор произвольным“.

Г1: „Нет ничего объективнее субъективного выбора“.

Г2: „Автор полагает себя золотой арфой, выражающей трепетания какого-то общего мнения“.

Г1: „Возможно, в дальнейшем я изменю этот список, но на этой неделе он кажется мне безупречным“.

Г2: „На вопрос, что конкретно вынудило автора к отбору: художественное совершенство творения; сформированная им новая картина реальности; степень влияния ее на сознание или драматическая и высокая судьба сочинителей, автор отвечает: все перечисленное“.

Г1: „Повторяю очевидное – список, разумеется, субъективен, это так называемый личный выбор“.

Г2: „Другим было отказано в почете из-за ограниченного количества переводов или дурного их качества“.

Г1: „Иные достойные кандидаты были отмечены вследствие сугубо индивидуального нерасположения к ним сочинителя“.

Строго судить автора за то, что он не разобрался в своем побуждении к составлению Списка, не следует – творцу это всегда неподвластно, поэтому о побуждениях судят критики, которые набрасываются на опубликованное сочинение, чтобы каждому предложить свою версию. Изложим и мы свою, хотя предупредим, что слишком оригинальной она не окажется.

Оценка результатов творческого труда.

Что такое выделить N наилучших? Это равносильно утверждению, что любой вне Списка слабее любого, в список включенного. Процедура составления Списка, следовательно, сводится к последовательному сопоставлению двух творцов. Она элементарна,

если результаты творчества оценке подлежат, зато совершенно немыслима в противном случае. Естественно возникает вопрос: *подлежит ли продукция творческого труда оценке?*

Если такого рода оценка невозможна, то нельзя однозначно определить, кто же все-таки сильнее – Пушкин или Лермонтов, нельзя составить обоснованно никакой перечень, и Список А. Гольдштейна всегда будет субъективным.

Субъективные решения имеют то огромное преимущество, что не требуют никаких обоснований.

Кажется вполне логичным априорное утверждение о том, что кое-что оценке подлежит, а что-то не подлежит. Но всякая попытка конкретизировать это положение встречает неприятие – где-то в глубине сознания людей лежит упрямая вера в то, что оценке подлежить все!

Наша задача состоит в том, чтобы показать невозможность оценки результатов всех видов подлинно творческого труда.

Научное творчество.

Корректно поставленные исследования всегда имеют результаты трех видов: прямые, научные и непредвиденные (побочные).

Наиболее скромны обычно прямые результаты, но они необходимы для функционирования системы науки и ее планирования. Совсем в другом состоит значение научных результатов. Может случиться, что полученные научные результаты как раз заказчику не нужны; так бывает часто. Вместе с тем известно, что настоящие научные результаты не пропадают никогда – рано или поздно приходит время и для них.

Побочные результаты неожиданны и, значит, несут с собой новое. Это безмерно важно, поскольку оказывается, что получить новое путем экстраполяции уже известного на мир неизвестного не удастся. Известный физик-теоретик Б. Мигдал утверждал, что *все открытия* были получены как побочные результаты каких-то исследований. А раз так, то именно побочные результаты следует считать главными. Но как прогнозировать развитие науки, как оценивать результаты, если они в главном *неожиданны*?

На оперативную оценку прямых результатов, необходимую для оплаты затраченного труда, рассчитывать еще можно, но предугадать значение совершенно нового и непредвиденного чаще всего не в состоянии даже авторы открытий. Наиболее убедительно это доказывают исторические факты:

– когда в 1820 году Эрстед обнаружил отклонение магнитной стрелки при прохождении вблизи нее электрического тока, ему это показалось забавным курьезом. Ему и в голову не пришло, что этому „курьезу“ суждено стать основой всей современной электротехники;

– первооткрыватель электромагнитных волн Герц никакой практической пользы от своего открытия не видел. Правда, причиной тому была не его слепота, а недостаточность знаний об условиях распространения волн вокруг земли;

– когда незадолго до Второй мировой войны Эйнштейна спросили, будет ли когда-нибудь расщеплено атомное ядро, он заявил, что это совершенно исключено;

– первооткрыватель атомного ядра Резерфорд за 17 лет до первого взрыва атомной бомбы утверждал, что практического значения расщепление ядра иметь не может.

Подобным примерам несть числа.

Таким образом, на сколько-нибудь адекватную оперативную оценку качества научной продукции рассчитывать не приходится.

Л и т е р а т у р н о е т в о р ч е с т в о и и с к у с с т в о .

Переходя к этим видам творчества, мы попадаем в ситуацию вовсе безнадежную. Научная продукция материализуется, превращаясь в новые материалы, технологии, машины и др., значит в принципе оценить ее можно. Другое дело, что люди обычно неспособны это сделать. В литературе и искусстве оценить творческую продукцию невозможно в принципе. Чтобы составить обоснованный Список нужны количественные оценки, как, например, у теннисистов, где каждый классный теннисист имеет свой рейтинг. Тогда выделить лучших под силу любому чиновнику. Ю.В. Трифонов писал: „Андрею Платонову было трудно при жизни, оттого что он не походил на современников. Он наполнял фразу каким-то особым светом, какой был у него одного. Сейчас он признанный советский классик. Критики отыскивают у него все новые достоинства так же, как раньше отыскивали все новые недостатки... Мы читаем в рассказах Платонова то, что хотел сказать художник, и еще что-то, чего он не знал, но знаем мы, пережившие его на 15 лет“.

Подобную же судьбу имели и новаторы в музыке: Губайдулина, Денисов, Каретников, Шнитке и др. Многие помнят, как мыкались

в Союзе художники-новаторы, произведения которых сегодня выставляются в лучших залах мира. Когда-то произведения Ван Гога не окупали расходов на холст и краски, а недавно одна из его картин была продана за 60 миллионов долларов.

Как же все-таки судить о творческой продукции? Если речь идет о серьезном произведении, лучше всего вообще отказаться от его оценки. В крайнем случае обращаться к специалистам, мирясь с возможностью грубых ошибок. Ну, а суд масс? Ему доверяться вообще нельзя. Уровень его очень низок и имеет тенденцию к неограниченному падению.

К сожалению, изучением массового вкуса занимаются мало. Для иллюстрации его низкого уровня обратимся к небольшому, но очень интересному исследованию К. Чуковского, который заинтересовался читательским спросом. Вот к чему он пришел: „...раскрывая наудачу первый попавшийся библиотечный отчет вижу, что там, где Чехова требовали 288 раз, а Короленко 169, – там госпожа Вербицкая представлена цифрой 1512“. Это дало основание для следующего ее высказывания: „Если меня читают больше Толстого и Чехова, значит я талантливее их, ибо цифры говорят сами за себя“. Остается добавить, что произведения Вербицкой принято считать образцами дурного вкуса, и высокая востребованность их у массового читателя свидетельствует, что и его вкус очень низок.

Глубокие произведения оценке не подлежат. Тем более это относится к лучшим произведениям мировой литературы. Таким образом, *Списки Гольдштейна отражают его личные пристрастия, только их!* Уже отмечалось, что такие Списки не подлежат критике, зато каждому читателю дозволено судить о вкусе их автора.

Список лучших русских писателей и их лучших произведений.

Д. Андреев – „Роза мира“; И. Бабель – „Конармия“; А. Белый – „Петербург“; А. Веселый – „Россия, кровью умытая“; М. Горький – „Жизнь Клима Самгина“; И. Зданевич – „Восхищение“; М. Зощенко – все написанное; В. Иванов – „У“; И. Ильф и Е. Петров – „Золотой теленок“; Э. Лимонов – „Это я – Эдичка“; Ю. Мамлеев – „Шатуны“; Ю. Олеша – „Зависть“; Б. Пастернак – „Доктор Живаго“;

А. Платонов – „Котлован“; А. Солженицын – „Архипелаг ГУЛаг“; Ф. Сологуб – „Мелкий бес“; Ю. Тынянов – „Смерть Вазир-Мухтара“; В. Шаламов – „Колымские рассказы“; В. Шкловский – „Сентиментальное путешествие“.

С грустью читал я этот Список, и мне стало вдруг ясно, что лицо русской литературы XX в. создано вовсе не двумя десятками даже самых лучших писателей, а сотнями, может быть и не „лучших“ писателей, но незаменимых в своих „квадратиках“. Ну скажите, кто из 19 заменит и, значит, сделает ненужным творчество И. Бунина, М. Булгакова, В. Набокова, Ю. Трифонова. Кто из тех же 19 сумеет, как Василь Быков поведать правду о войне. Я готов принять Список, не слишком интересуясь его недостатками, но меня не покидает чувство, что это скверно по отношению к недо-стоенным включения в Список: В. Некрасову, Ю. Домбровскому, В. Гроссману и многим другим. А то, что в списке нет С. Довлатова, заставляет меня искать себе компанию за чертой списка. Согласитесь – обидно, если творчество А. Солженицына ограничено „Архипелагом ГУЛаг“, словно бы еще не написан „Один день Ивана Денисовича“, „Раковый корпус“ и „В круге первом“. Еще более обидно, что в список попал Лимонов. Может быть, он согласится уступить место Венедикту Ерофееву?

Перечень лучших писателей XX в. и их произведений в хронологической очередности их опубликования.

А. Стриндберг – проза начала столетия; Р.М. Рильке – „Записки Мальте Лауридса Бригге“; М. Пруст – „В поисках утраченного времени“; К. Гамсун – „Соки земли“; Лу Синь – „Подлинная история А-Кью“; Д. Джойс – „Улисс“; И. Звево – „Самопознание Дзено“; Я. Гашек – „Похождения бравого солдата Швейка“; Т. Манн – „Волшебная гора“; Ф. Кафка – „Процесс“, „Замок“, новеллы, письма, дневники; В. Вулф – „К маяку“; Э. Хемингуэй – проза 20-30-х годов, „Старик и море“. Не вошел роман „По ком звонит колокол“, написанный в 40 году – жаль! А. Деблин – „Берлин, Александерплац“; Р. Музиль – „Человек без свойств“; Г.Н.Ф. Лавкрафт – избранная проза; Л.-Ф. Селин – „Путешествие на край ночи“; И. Рот – „Марш Радецкого“, Г. Миллер – „Тропик Рака“; В. Гомбрович – „Фердидурка“; А. Арто – „Театр и его двойник“, биография; А. Камю – „Посторонний“, Ж. Жене – „Богоматерь

цветов“; Г. Гессе – „Игра в бисер“; Г. Брех – „Смерть Вергилия“; Д. Оруэлл – „1984“; Х.К. Онетти – „Короткая жизнь“, „Верфь“; С. Беккет – „Моллой“, „Мэлоун умирает“, „Неназываемый“; Э. Канетти – „Масса и власть“; Ю. Мисима – „Исповедь маски“, „Солнце и сталь“; Г.Г. Маркес – „Сто лет одиночества“; К. Кастанеда – „Десятикнижие“.

Даже людей, искушенных в художественной литературе, Список, наверно, поразит обилием малоизвестных произведений. А. Гольдштейн мнит себя золотой арфой, „выражающей трепетание какого-то общего мнения“, но явно отдает предпочтение не мнениям читателей, а писателям, имеющим заслуги в развитии художественных форм и приемов. Это бы не плохо, но, к сожалению, среди заслуженных корифеев есть и устаревшие и очень скучные. Между тем не перевелись еще писатели, по-настоящему любимые равно искушенными и неискушенными читателями. Рискну назвать несколько фамилий: Фолкнер и Сэлинджер, Ремарк и Белль, Стейнбек и Т. Вулф, Колдуэлл и Кобо Абэ.

К Списку приложены аннотации выделенных произведений. Они могли бы стать интересными и полезными, но написаны так замысловато, что превращаются в ребусы, за разгадку которых возьмется разве что редкий любитель головоломок. Поначалу мне казалось, что цель аннотаций – обоснование сделанного выбора. Но нет, они явно предназначены, чтобы раскрыть глубинный смысл произведений. Достигают ли они этой цели?

Список А. Гольдштейна и ему подобные могут выражать только субъективные пристрастия их авторов, поскольку достаточно точные объективные оценки значительных творческих достижений невозможны.

Любые Перечни и Списки некорректны по своей природе; они безмерно вредны, если их составитель имеет дурной вкус, но даже люди с хорошим вкусом должны воздержаться от искушения их составлять, по крайней мере, по двум причинам:

- не определено и невозможно однозначно определить понятие „лучший“;

- появление Перечней и Списков будет каждый раз ставить под сомнение постулат о невозможности оценок творческой деятельности.

Александр Воронель

СПИСОК ГОЛЬДШТЕЙНА
(О вкусах не спорят, но... говорят и пишут)

Чего ожидает читатель, открывший книгу в свое нерабочее время?

Может быть, он хочет узнать что-нибудь новое? В таком случае это, скорее всего, будет не художественная литература.

Может быть, он надеется понять что-то в себе или в окружающем мире, что не удалось ему понять без помощи книг? Тогда, пожалуй, в наше время обращение к писателям и поэтам еще менее вероятно.

Читатель берется за роман с неопределенным желанием „почитать“, в котором слито воедино множество мотивов, зависящих от его прошлой жизни и всяких случайных воздействий. Например, ему вспомнится сладостный детский опыт переживания другой жизни, полной волнующих и зачастую загадочных событий из мира взрослых. Или просто захочется быть в курсе болтовни сослуживцев во время обеденного перерыва. В любом из вариантов он дочитает роман до конца, только если после первых страниц его захватит волна живого интереса, уже не опосредованного внешними обстоятельствами. Начальный момент и выбор чтения зависит от многих житейских влияний. Продолжение чтения зависит только от мотива, возникшего уже в самом процессе и под влиянием текста.

Конечно, у профессиональных литераторов все обстоит совершенно иначе. Читая, они невольно оказываются в своей профессиональной среде, и спектр их переживаний при чтении несравненно богаче. Он включает солидарность и соперничество, ученичество и покровительство, зависть и преклонение, ненависть и лю-

бовь, а также, конечно, партийный или научный интерес. Эти чувства часто относятся не столько к тексту, сколько к его автору. И всеми этими чувствами литератор потом охотно делится с читателем.

Александр Гольдштейн в популярной газете „Вести“ опубликовал список самых выдающихся („лучших“) литературных достижений прошедшего века, снабдив их своими краткими аннотациями и, таким образом, задал некую систему координат, которая могла бы позволить сбитому с толку русскоязычному читателю ориентироваться в беспредельном океане современной литературы.

Вообще-то, русский читатель был сбит с толку, по крайней мере, трижды. Сначала Виссарион Белинский, исходя из своего пристрастного взгляда на смысл и цели литературного процесса, установил некую иерархическую шкалу оценки русских писателей и придал ей черты мнимой объективности. Эта шкала определила доминанту русской общественной жизни почти на полвека и послужила основой будущего неписаного Завета между русским писателем и его „народом“, т.е. читателем. Писатель призван был сеять в сердцах разумное, доброе, вечное, а читатели в ответ обязывались его читать. Конечно, всегда находились писатели-уроды, которые уклонялись от исполнения гражданского долга. Да и народ был не дурак согрешить, почитывая то нехорошего Фаддея Булгарина, то какого-нибудь „Луку Мудищева“. Но „мыслящее“ крыло интеллигенции рассматривало все, что не укладывалось в схему Завета, только как отклонение от генеральной линии.

К концу XIX в. этой „святой“ русской литературе пришел, было, конец. И русская литература стала, как будто, нормальной литературой... Однако не надолго. Вскоре после политической победы Иосифа Виссарионовича Сталина (предопределенного уже отчеством своим к наследованию руководящей роли в литературе) завет был возобновлен и деспотически-воспитательная концепция неистового Виссариона (в дикой комбинации с Чернышевским) систематически и целенаправленно начала внедряться в сознание молодого поколения через высшую и среднюю школу. Таким образом, законсервированная литературная конвенция прожила после своей естественной смерти еще почти 50 лет.

В результате настоящая русская литература начала XX века („Серебряный век“) дошла, наконец, до советского читателя (если считать, что дошла) только в виде самиздата и редких малотираж-

ных изданий. Конечно, в сочетании с укоренившимся представлением, что „поэт в России – больше чем поэт“ это внесло немалый беспорядок в умы. Теперь уже никак нельзя было поставить вопрос, кто именно лучший, талантливейший поэт советской эпохи – Пастернак или Маяковский – и приходилось принимать их обоих. Да вскоре еще вместе с Мандельштамом. Но чтение все же по-прежнему оставалось основным внепрофессиональным занятием широких кругов, писатель оставался культовой фигурой, и „Новый мир“ с „Юностью“ с честью продолжили традицию Белинского.

Не успел читатель за время застоя привыкнуть к тому, что пророков может быть много, хороших и разных, как началась Перестройка и информационный грязевой поток смыл все границы и критерии. Все заветы и запреты были в очередной раз разрушены. Оказалось, что разумного, доброго, вечного и их пророков нет больше в российском мире, и меньше всего на эту роль годятся писатели, что бы они теперь ни писали.

„Оказалось, что вечность существовала только до тех пор, пока кто-нибудь искренне в нее верил. И нигде за пределами этой веры ее, в сущности, не было. Для того чтобы искренне верить в вечность, надо было, чтобы эту веру разделяли другие, – потому что вера, которую не разделяет никто, называется шизофренией.“
(В.Пелевин, „Поколение П“).

Произошло окончательное отделение читателя от писателей. Писатели теперь сами для себя решают, кто из них великий, а кто поменьше, а читатели решают, кого читать, вне всякой зависимости от этого деления, по совету знакомых. Чаще всего, они вообще перестают читать.

Здесь становится очевидно, что даже плохая система лучше бессистемности. Плохая советская система все же худо-бедно давала человеку, далекому от литературы какие-то ориентиры в литературном море. И он, плывя от одной вехи к другой, мог, часто с трудом, соотнести свой жизненный опыт с предложенной схемой. Рано или поздно он убеждался, что вехи пора сменить. Но и до „Вех“, и после, и даже после „Смены вех“ были в русской культуре какие-то координаты. То есть, даже чувствуя неадекватность навязанной ему школьным образованием схемы, читатель все же не приходил к тупиковой мысли об отсутствии в мире изящной словесности (а, может быть, и в мире вещей и событий?) всякой структуры вообще.

Тот факт, что ни одному литератору не удалось еще в полноте эту структуру охарактеризовать, не более многозначителен, чем то, что нет у нас и полной философии действительности, а также и полной физической теории космоса. Не обладает полнотой даже математика. Но, конечно, приблизительная картина такой структуры есть у всякого, кто сознательно занимается литературой. И естественно его желание навязать свое представление читателю. „Потому что вера, которую не разделяет никто, называется шизофренией“.

Отсутствие всякой структуры читательского внимания – это не начало освобождения, а смерть литературного процесса. К сожалению, мы находимся где-то очень близко от этой точки.

Александр Гольдштейн поступил в высшей степени самоотверженно, поставив себя в уязвимую позицию мэтра, предлагающего читателю какую-то систему. Как всякий профессионал, он знает, что система его заведомо несовершенна и, конечно, вызовет ожесточенные возражения (*см. выше отзыв М. Холмянского*). Однако он вынужден ее предложить, чтобы найти хоть какой-то контакт с читателем. ...И тотчас теряет этот контакт, переходя на язык профессионалов.

Итак, русская проза: А. Белый, Ф. Сологуб, В. Шкловский, И. Бабель, Ю. Тынянов, Ю. Олеша, М. Зощенко, А. Платонов...*

Бросается в глаза, что в списке Гольдштейна перевес отдан, так сказать, культурным писателям. Белый, Сологуб, Шкловский, Тынянов не просто писатели, писавшие вольно, как птички поют, а серьезные исследователи языка, эрудированные авторы литературных концепций и научных трудов. Бабель, Олеша, Зощенко, Платонов, хотя и не склонны были теоретизировать сами, своей выдающейся стилистической новизной автоматически попадают

* Впоследствии Гольдштейн добавил к этому и три десятка западных писателей. Однако серьезность и индивидуальность выбора, сделанного на основании переводов, не стоит переоценивать. Это, в особенности, касается переводов на русский язык, которые в условиях советской жизни превратились одновременно в средство антизападной пропаганды и высококорентабельную ветвь промышленности. Полагаясь на переводы, Гольдштейн вынуждает и нас безосновательно полагаться на выбор российских издателей и переводчиков.

в тот же круг (уже как предметы исследования). Об Илье Зданевиче и Всеволоде Иванове я не могу судить сам, поскольку не читал, но по отзыву Гольдштейна они оба входят в тот же класс стилистов. Таким образом критерий, по которому составлялся список, в значительной степени профессионально ориентирован.

Профессиональная оценка отличается, прежде всего, тем, что включает не только непосредственный результат (в данном случае текст), но и то значение, которое этот результат приобретает внутри профессии.

Наивный вопрос, кто лучше пишет – Лермонтов или Пушкин, просто неверно поставлен. Для филолога вопрос стоит иначе: кто сыграл большую роль в русской словесности? И в ответе на этот вопрос никто не усомнится.

Подобно этому, задавая свои вопросы о значении трудов великих ученых – Эрстеда, Герца, Резерфорда – Холмянский невольно смешивает их практическое значение для технологии, которое выяснилось только со временем, с научным. Научное значение их достижений было внятно профессионалам с самого начала. Резерфорд мог ошибаться относительно пользы атомной энергии (это и сейчас может оспариваться), но он не мог ошибиться относительно значения понимания структуры атома для науки.

„Подлежит ли продукция творческого труда оценке?“ – спрашивает Холмянский. На этот вопрос следует ответить: и да, и нет. Потому что закон исключенного третьего, строго говоря, кроме области чистой логики, неприменим нигде. В частности, он вообще не может относиться к человеческим оценкам и культурным явлениям, которые не существуют вне соответствующей культурной среды. Поэтому кажущиеся колебания Гольдштейна в предисловии к списку весьма понятны и обнаруживают, скорее, большой прогресс в состоянии русской словесности со времен Белинского, чем недостаток его личной уверенности.

Список Гольдштейна начинается примерно с того момента, когда умер последний классический русский писатель – Лев Толстой – и включает только имена, которые, так или иначе, не укладываются в классическую традицию. Он выделяет авторов, которые, с его точки зрения, открыли новые горизонты для русской литературы, будь это стилистический поиск, мистика, галлюциноз, психопатия, религиозное (антирелигиозное) бесовство, апология насилия или бездны зла и падения:

„Хронологически первая экспериментальная проза столетия... (Об Андрее Белом). Творец синкретических жанров... (О В. Шкловском). Около сорока печатных листов достаточно внятного визионерства и галлюциноза, опыт провидчества... (О Данииле Андрееве). Он первым... усомнился в жизни как таковой, в условиях существования и принципах миропорядка. Он гностик, отвергший тварный мир и материю, сверх-Маркион... (О Ф. Сологубе). Атмосфера мистифицирующей провокации достигается душным, пародийно-двусмысленным языком, главным агентом романного действия, и структура этой речи удивительна... (О Вс. Иванове). Рыдающим, смеющимся от ужаса запечатлителем убийства пролетариата стал (Андрей Платонов). Протяжный, на три сотни страниц растянувшийся вопль... Книгу... встретила русская литература, изнемогая от целомудрия и фальшивых приличий (Об Эдуарде Лимонове).“

Аннотации достаточно убедительно объясняют авторский выбор. Гольдштейн читает романы, не столько переживая сам текст, сколько сопереживая его творцу. Книги, которые не могут вызвать у него такого сопереживания, не включены в список. Например, „Тихий Дон“ – трудно отрицать, что это замечательный роман. Он также представляет значительную новизну для русской литературы и написан необыкновенно сочным языком. Во всяком случае, это более значительное литературное явление, чем „Зависть“ Олеши или „Доктор Живаго“*, не говоря уж о Лимонове и Мамлееве.

Однако, то ли скандальная репутация Шолохова, официального автора „Тихого Дона“, то ли отлученность неизвестного фактического автора от общероссийской литературной жизни, делают этот роман, по-видимому, неприемлемым для Гольдштейна. Можно догадаться, что также и Владимир Набоков не включен в список, потому что он возник и осуществился вдали от остальной русской литературы.

Но, если к русскому списку добавить еще и несколько характеристик западных писателей – „...Тихое выборматывание слипшихся псевдофраз... Речь продолжает звучать, как звучит безостановоч-

* Мы знаем, что „Доктор Живаго“ написан гением, как справедливо сказано в комментарии Гольдштейна, но это не делает его гениальным романом.

но прокручиваемая магнитная лента... ленточным глистом выполняют слова... (Сэмюэл Беккет)... Материализация ужаса, натурфилософский роман, поэма психозов, источаемых жаждой господства над толпами и самую толпой (Элиас Канетти). Он из тех считанных единиц, которым удалось написать действительно ненормальный роман. Мутная и слепящая проза, угрожающая головокружением с потерей ориентиров (Витольд Гомбрович). Нацистская эволюция (Кнута Гамсуна) изумила лишь нечитателей его книг" – становится понятно, что в этом выборе содержится и кое-что еще, и кое-что другое.

Уж очень плохую рекламу своим избранныкам делает Гольдштейн. Прочитав такой мрачный набор комплиментов, впору вспомнить анекдот из „Легенды об Уленшпигеле“: высунулся один еврей из окна и услышал от прохожего – „Вот, спустись-ка вниз! Я тебя так стукну, что у тебя голова провалится в грудную клетку. Будешь глядеть сквозь ребра, как вор сквозь тюремную решетку“. На что еврей отвечивал – „Да, пообещай ты мне даже вдвое больше колотушек, я и то не подумаю спуститься.“

Если Белинский был одержим идеей воспитывать читателя и внушить ему непреодолимое желание прочитать то, что он считал лучшим, Гольдштейн, скорее, отталкивает читателя и убеждает, что „лучшая“ литература создается не для него.

Это, конечно, отчасти верно. Литература имеет собственные задачи. Но также верно и противоположное. Как всякое прикладное искусство, литература выполняет одновременно несколько функций. Но одна из них – неотменяемая – просто занять людей.

Еще когда слепой Гомер бродил от одного владетельного хама к другому в поисках награды за свои замысловатые выдумки и поражал воображение пьяных гостей, уже тогда сложились законы этого жанра. С тех пор сущность литературы для читателя осталась без изменений: сказания о богах и героях, о сильных чувствах и великих событиях, переживание неведомой чужой судьбы как своей... и налет тайны. Удвоение жизни, вторая реальность.

За прошедшие три тысячелетия возникали и исчезали языки и народы, рушились религии и философии, совсем сменилась социальная атмосфера, но скрепляющая, ремесленная опора искусства, благодаря которой внимание воспринимающего прилипает к тексту, осталась неизменной, как неизменными остались наши пять чувств.

Удивительно, что Гольдштейн (как и Белинский) пренебрегает именно механизмом читательского интереса, который, собственно, и составляет специфику этого вида искусства. Его характеристики дают почву скорее для философских размышлений и исторических оценок, чем для литературного суждения. Вот, как он рекомендует хорошо знакомых нам русских авторов:

„Исследование советского муравейника как цивилизации небывалого типа... (О М. Зощенко) Редкий образчик нигилистической лирики и бесслезного, чреватого мизантропией тупика, в котором холодеет религия и не помогает агностицизм. (Об Ильфе и Петрове)“ – А куда девалось наше чистое наслаждение от чтения этих замечательных книг, напряженное внимание к подробностям, удовольствие от неожиданных поворотов, узнавание ситуаций, соблазняющая достоверность жестов героев?

„Никто не дал более мощного, осязаемо убедительного движения коллективов, ...концентрируя лучи... на религиозном собирании в массу... (Об Артеме Веселом) ...Его Россия – нелюдское и гиблое место схождения противоречий, область чудесного помешательства и тоски. (О Ю. Мамлееве) ...Экзистенциализм, во всем XX столетии с такой кристальной чистотой достигнутый только этим русским Сизифом, обратившимся в камень... (О Варламе Шаламове)“. Трудно не согласиться с этими отточенными формулами, но не слишком ли много философии для хорошей литературы? Хорошая литература тем и возвышается над умозрением, что она позволяет разные толкования и никогда не сводится к ним.

Еще круче он обходится с западными писателями: „Он описал низкое, мглистое небо, в котором... нет места и для захудалого божества. Опроверг социальный и сословный уклад. Набросился на сложившиеся институты профессий (Август Стриндберг). Искусство, подобно очистительной эпидемии должно стать гнездилищем страшных снов, превзойдя удовольствия, даруемые войной, преступлением и инцестуозной любовью. ...Искусство жестокости сакрально, антипсихологично, и галлюцинирует не личность, а сплоченная обрядовым торжеством масса, чьи тревоги насущнее индивидуальных тревог (Антонен Арто). Стильная проза о чарующем многообразии градаций безнадежности, подкрепляемой бессменным видом из окна (Х. К. Онетти).“

Возможно, эти фразы направлены будущему историографу,

чтобы он смог ориентироваться в нашем смутном, неоднозначном времени?

Рядовой читатель вряд ли соблазнится „многообразием градаций безнадежности“.

Похоже, не только Белинский и Гольдштейн. но и М. Холмянский согласны, что „произведения г-жи Вербицкой принято считать образцами дурного вкуса, и высокая востребованность их у массового читателя свидетельствует, что и его вкус очень низок“. Никогда не читавши Вербицкой и не оспаривая низкий уровень вкуса массового читателя, я все же решусь утверждать, что вкус тут ни при чем. Если Вербицкую, оказывается, „читают больше Толстого и Чехова“ (даже и с Короленко впридачу), значит, она дает читателю что-то такое, чего недодали ему (ей – читательнице) ни святая русская литература, ни серебряный век, и что, повидимому, не имеет отношения ко вкусу. Люди с неразвитым вкусом могут обойтись без перца и горчицы, они могут есть пережаренное и недоваренное, но они не могут обойтись без белков, жиров и углеводов. Я не собираюсь вступать в спор о романах Вербицкой, но любому писателю, сеет ли он „доброе, вечное“ или издает „протяжный, на три сотни страниц, вопль“, „отвергая тварный мир и материю“, не мешает помнить, что читателя никто не приковал цепями к книге, как обреченного солдата к пулемету. Это значит, что на протяжении своих „трехсот страниц“ автор должен рассказать ему что-то, кроме „тихого выборматывания слипшихся псевдофраз“ и „поэмы психозов“. Что-то, что заставит читателя, как в детстве, отложить свои повседневные игры, чтобы погрузиться в мир чужих переживаний, обрисованный чуждой рукой.

Во всяком случае, список подчеркивает попрежнему элитарный характер русской культуры. Если, однако, Белинский считал свою элиту (интеллигенцию) призванной заботиться о народе, Гольдштейн твердо решил махнуть на народ рукой. Оба, впрочем, при этом согласны, что литература выполняет надбытовую, провидческую, религиозную в сущности, функцию, так что „искусство, боящееся подступить к... гностическому перекраиванию материи и возведению Града... внушает жгучую неприязнь; оправдания его выхолощенным играм - нет“. (Об Антонене Арто) Неужто и в самом деле – нет?

Чем-то это уже приближается к гуманизму Чернышевского: „К топору зовите Русь!“ И „возведение Града“ очень напоминает

русскому выходцу мучительно знакомое: „...до основанья, а затем... мы наш, мы... „Новый мир“ построим...“ – Ага, конечно, связь легко установить через Сартра, чьи мысли и мнимо-парадоксальная манера вплетены в ткань аннотаций на Альбера Камю и Жана Жене: „Он (Жан Жене) стремился к святости и искал ее среди тех, кого обычно называют подонками.“ Интересно, кто из них внимательнее изучал фантазии, вдохновлявшие былого друга неистового Виссариона – Михаила Бакунина – Гольдштейн или Сартр? Во всяком случае очевидно, что ни тот, ни другой (как бы напряженно они ни думали о святости) не имели в жизни случая вплотную познакомиться с уголовниками. Пока писатели ищут путь к святости, там где ее нет, и подступаются к „перекраиванию материи“, читатели осваивают этот путь практически, попросту приспособив свою мораль к „тем, кого обычно называют подонками“. На хорошо взрыхленной русской почве это происходит даже успешнее, чем на французской.

Все в конце концов возвращаются к XIX веку, как к старинной мебели. На определенном этапе культура усваивает рефлексивное отношение к своему собственному бытию, включая и саморазрушительные соблазны.

Невнятные восторги Гольдштейна по поводу гностицизма и всеобщего бунта против материи становятся понятнее после чрезвычайно эмоционального пассажа, завершающего его список западных авторов: „...Уже несколько десятилетий в моде, фаворе и славе те, кого прежде, в творческие эпохи, называли бы имитаторами. Талантливыми, порой гениальными, но имитаторами. Мы видим прекрасных писателей, столпов профессорской культуры Эко и Павича, видим тонкого пессимиста Зюскинда и любимца эрудированных буржуазок Кундеру. Virtuозность и европейский историцизм их сочинений не помешают сказать: ...это... профанация духа, подмена священного творчества изобретательным мастерством. Но никакая мимикрия не может превратить домашнюю газовую горелку в главенствующий над морем огонь маяка...“

Снобизм этой высокомерной заявки не смягчается тем, что она высказана якобы от имени всей западной культуры. Огонь маяка вовсе не главенствует над морем. Он является всего лишь удачным использованием газовой горелки для повседневных нужд морских перевозок. Имитаторы во все времена были в моде и славе. Какие-такие творческие эпохи? Не было такого времени,

когда люди не жаловались на оскудение творчества и не кивали на прошлые, лучшие времена. Возможно, в итальянской литературе (и даже в чешской?) и были такие времена, когда Умберто Эко или Милан Кундера выглядели бы имитаторами. Но у нас – „позади Москва“. Давно уж все вышли (ушли) из „Шинели“ Гоголя и имитаторство стало неотъемлемой частью литературной игры. Какая еще живет в мире культура, кроме профессорской? Культура домашних хозяек? Футбольных болельщиков? Может быть, культура „тех, кого обычно называют подонками“? И кто это – зрудированные буржуазки?

Я думаю, отсутствие в русском списке Гольдштейна Бунина, Булгакова и романов Солженицына находит свое объяснение не столько в их очевидной близости к классической традиции, сколько в их популярности у читателя. Читатель рассматривается в этой системе взглядов, как посторонний и часто нежелательный персонаж. Однако, неожиданно (но не случайно) всплывший на поверхность термин „священное творчество“ больше подошел бы щедрому на высокие слова Белинскому и всему фону XIX века, чем введению в охальную литературу нашего времени. Конечно, представление об искусстве, как самоценном священнодействии, отличается от теории искусства, как священнодействия для проявления или просвещения национального духа, но совпадение ключевого слова отвращает от обоих.

Гораздо пронциательнее мне кажется взгляд на литературу, как ремесло, высказанный одним из законнейших представителей „творческих эпох“ – русского „серебряного века“: „На место романтика, идеалиста, аристократического мечтателя о чистом символе, об отвлеченной эстетике слова... пришла живая поэзия слова-предмета, и ее творец не идеалист-мечтатель Моцарт, а суровый и строгий ремесленник, мастер Сальери, протягивающий руку мастеру вещей и материальных ценностей, строителю и производителю вещественного мира...“ И еще: „Собственно творческой в поэзии является не эпоха изобретения, а эпоха подражания. Когда требники написаны, тогда-то и служить обедню...“ (*О. Мандельштам. Соч. в 3 томах, т. 2.*) Эти слова оказываются также в согласии и с тем уважительным отношением к „изобретательному мастерству“, которое было общепринятым в одну из самых творческих эпох в европейской истории.

Впрочем, в беспросветном хаосе, который воцарился в совре-

менной литературе на русском языке, „домашняя газовая горелка“ Александра Гольдштейна – несомненное благо, способное осветить путь внимательному читателю. Необычность жанра этого литературного манифеста одиночки и серьезность его претензии вызывают глубокое сочувствие. Броские, категорические формулировки, чрезмерно экзотичный (иногда очень удачный, но часто затрудняющий) выбор слов и тяжелый синтаксис списка провоцируют на спор. Но это напомнило мне слышанное в 70-х высказывание одного англичанина в Израиле: „О чем эти русские все время спорят? Ведь ясно, что один думает так, а другой иначе...“

Многие писатели пишут так, что их книги никогда не выходят за пределы литературного круга. И они законно остаются известными лишь специалистам.

Вот, что Гольдштейн пишет о романе И. Зданевича: „Восхищение“, вероятно, навсегда разминулось с известностью, и причиной тому не эзотеричность романа, но бездарность русских оценщиков и пропагандистов. Любителей зрелого Джойса, умеющих получить от „Улисса“... нелицемерное удовольствие, вовсе не миллионы, а стражи английского слова, критики и профессора, хладнокровно ставят /его/... на первое место в столетии.“

Ну, вот: „критики и профессора ставят на первое место“. Да, ведь это все же английские профессора! Про свою английскую литературу. Культуры отличаются друг от друга не меньше, чем люди. И так же, как литература в английской культуре занимает совсем не то же место, что в русской, так же и „первое место“ у них означает совсем не то же самое. что значило бы у нас. И уж во всяком случае это место ни к чему не обязывает англоязычного читателя. К тому же та социальная группа, которая в основном и читает в пределах русского языка – техническая интеллигенция – в англоязычном мире почти не пересекается с кругом читателей. Похоже, что Гольдштейн ожидает, что русская культура (и русское общество) рано или поздно (когда „оценщики и пропагандисты“ исправятся) усвоит западные нормы. Но нет никакой уверенности в том, что этот момент не станет ее концом.

ИЕРУСАЛИМСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

ОТ РЕДАКЦИИ

С 70-х годов (начало массовой алии из России) еврейское население Израиля выросло вдвое. А с начала государственного существования – в десять раз. Наивно было бы предполагать, что это никак не скажется на политической жизни. Но, как ни странно, кое-что в ней остается на удивление постоянным. Например, число членов Кнессета – 120. Когда они законодательствовали от имени 600 000, каждый из них представлял примерно по пять тысяч человек – не исключено даже, что он всех своих избирателей знал в лицо. Возможно, это повышало в нем чувство ответственности.

Теперь на одного депутата приходится около 50 000 человек и никто не может предугадать, кто и по какой причине проголосует за того или другого. Это, конечно, сильно ослабляет чувство ответственности отдельного депутата и укрепляет чувство безнадежности отдельного избирателя в его усилиях повлиять на политическую ситуацию в целом.

Демократии в собственном смысле (т.е. народное управление) существовали лишь в некоторых городах древней Греции, да и то за вычетом рабов и чужестранцев (метэков). В таком городе, где все избиратели знали, за кого они голосуют и кто чего стоит, действительно было возможно народное управление. Так бывает и сейчас в кибуцах, малочисленных общинах и ученых советах.

В больших современных обществах управление осуществляется устойчивыми меньшинствами (элитами), которые иногда обновляют свой состав за счет способных представителей остальных слоев населения. В наше время демократиями называют государства, в которых предусмотрено разделение властей (законодательных, исполнительных и судебных), право образования ассоциаций и свободная пресса. Такие особенности обеспечивают государству относительное равновесие социальных сил, более или менее разумную политику и некоторую защиту прав меньшинств. Благодаря

предусмотрительности отцов-основателей все три этих блага у нас в Израиле есть.

Однако, и разделение властей, и свободная пресса остаются и разделенными, и свободными лишь пока большинство населения склонно следовать законам. При достаточно легкомысленном отношении к законам властям будет легко сговориться между собой и, тем более, с прессой.

Основные законы нашей страны были приняты теми 600 000 евреев (здесь уместно вспомнить число людей, заключивших Завет на Синае), что получили независимость 50 лет назад. Относятся ли все 6 000 000 сегодняшних жителей Израиля к закону так же, как это предполагалось в 1948 г.? Разные группы населения Израиля по-разному понимают законы и в разной степени их соблюдают. Поскольку наш политический истеблишмент довольно прагматичен, он тоже на некоторые нарушения духа и буквы закона смотрит сквозь пальцы. В таких условиях есть реальная опасность, что демократические нормы, оставаясь формально действительными, перестанут быть действенными вследствие протекционизма и коррупции. В этом смысле и выходцы из афро-азиатских стран, и выходцы из СНГ имеют большой двусторонний опыт: и как жертвы, и как пользователи. Две эти группы противопоставлены в политике друг другу и существующему истеблишменту. Обе имеют причины подозревать сегодняшнюю элиту в протекционизме, и обе требуют включения в новую политическую элиту. Нет сомнения, что обе рано или поздно добьются этого. Пойдут ли они дальше в своем соперничестве? Доведут ли дело до полного развала страны, как это произошло в результате межклановой войны в Ливане, или остановятся, добившись министерских портфелей? Прекратятся ли после этого протекционизм и коррупция?

Мы все за „настоящую“ демократию и общедоступную прессу, но мы знаем также, что никакие общие правила, никакие сверху установленные рамки не могут остановить коррупцию, если народ легко ее принимает и соучаствует. Поэтому настоящая демократия у нас установится (или не установится) не в результате побед (или поражений) тех или иных партий, а в результате усвоения привычки к соблюдению законов внутри каждой из этих партий.

Перед нашими глазами пример России, где демократические законы не обеспечивают не только демократии, но даже и простого права на жизнь отдельному человеку.

ТЕНДЕНЦИИ

Последние пять-шесть лет израильское общество находится в состоянии латентной гражданской войны. Из года в год тенденция обострения израильско-израильского конфликта набирает силы. Что касается израильско-арабского конфликта, то его влияние на израильско-израильский конфликт претерпевает радикальную трансформацию. На наших глазах он перестал быть стимулом внутреннего единения, превратившись в один из главных факторов обострения израильско-израильского конфликта. Сейчас, похоже, мы входим в фазу минимизации влияния израильско-арабского конфликта на израильско-израильский. Этот последний будет обостряться почти независимо от того, будет ли израильско-арабский конфликт урегулирован или нет, даже в условиях регионального мира. Надо надеяться, что наша латентная гражданская война не перерастет в открытую конфронтацию (не считая одиночных вспышек типа убийства Рабина), но даже и в своем скрытом состоянии она поглощает массу энергии, которая могла бы быть направлена на другие цели. Само по себе состояние отчужденности и противостояние различных частей народа друг другу, говорит о большой степени подавления и ограничения возможностей в обществе, что само по себе ставит под сомнение демократический характер государства.

Так или иначе, любой политик в сегодняшнем Израиле вынужден действовать на фоне и в условиях обострения израильско-израильского конфликта.

Любой политик – если он действительно политик – умеет уловить тенденцию и, оседлав ее, добиться электоральных успехов. Не случайно взаимное органическое неприятие одних частей народа

другими стало топливом политических кампаний, а разжигание племенной розни – залогом электоральных успехов.

Работать в этих условиях трудно, но еще труднее заложить новые тенденции, ведущие к смещению приоритетов в сторону интеграции и демократии, имеющей стабильную материальную базу. Трансформация Израиля из банановой республики с раскрашенным демократическим фасадом в современное государство может привести к смягчению и даже к урегулированию израильско-израильского конфликта.

Заложить новые тенденции – это всегда *tour de force*. Это удалось, ценой риска для жизни (политической) трем людям: Нетаниягу, Дер'и и Либерману. Как бы вы ни относились к этим трем людям и заложенным ими тенденциям, нельзя не признать, что Израиль после Биби, Дер'и и Либермана это не то, что Израиль до них.

Чтобы осознать смысл тех перемен, которые начались с их подачи, рассмотрим в общих чертах схему нашей социально-общественной организации.

К л а н о в о - п л е м е н н а я с т р у к т у р а

Высшие эшелоны управления в Израиле формируются из этнически и культурно-однородных кланов (ашкеназийский, светский, кибуцно-армейский фон, близость к партии Труда). Эти эшелоны держат в руках все структуры власти: армию, прессу, бюрократию, секретные службы, промышленность. Независимо от того, кто номинально находится у власти, эти структуры управляют страной. Социально-общественная и культурная гомогенность (однородность) эстаблишмента приводит к унифицированному мышлению и к ограниченному набору концепций и идей, которыми оно оперирует. Представители этого устоявшегося эстаблишмента уверены, что именно и только они действуют в интересах государства и на его благо, что они призваны правильно управлять и что им „позволено“ контролировать процесс распределения ресурсов.

Это означает, что любой альтернативный подход к решению государственных задач, даже на концептуальном уровне, не говоря уже об оперативном, не получает доступа к исполнению, либо отбрасывается под предлогом „ненужности“.

Идеологически и материально правящие структуры заинтересованы в сохранении статус-кво. Для этого им нужно свести к мини-

муму социальную мобильность и минимизировать влияние всех тех элементов, которые могут внести изменения (дезорганизацию, с их точки зрения) в систему государственного управления.

Сохранение статус-кво делается возможным, благодаря кланово-племенной структуре населения.

В условиях отсутствия нормальной интеграции возникают замкнутые группы, которые объединены по ряду формальных и неформальных признаков: этническая общность, культурный фон, интеллектуальные клише, степень религиозности, региональные и профессиональные интересы – то есть все то, что при наличии нормальных рычагов воздействия и обратной связи не выходит за рамки лобби. Некоторые из этих групп неуклонно набирают критическую массу (религиозные сефарды, русские, ультраортодоксы). В последнее время такие укрупненные группы модно называют „племенами“ („эдот“), в смысле „колена израилены“. Тут тебе и библейские ассоциации и современная параллель с глобальной тенденцией мультикультурализма.

В этой ситуации эстаблишмент сохраняет свою гомогенность заодно с привилегиями „главного племени“. При этом ему приходится в какой-то степени делиться ресурсами.

Вопрос с кем. У каждого племени имеются племенные вожди. Вожди бывают двух категорий: назначенные и приглашенные. Назначенные – это выдвигенцы из числа профессиональных этнических активистов, выдвигаемых в зависимости от их умения маркетировать определенные партии или интересы в своей этнической среде. Приглашенные – это признанные лидеры своих племен, имеющие какие-то заслуги перед своим племенем. Племенных вождей этой категории приглашают на коалиционные торги, чтобы договориться о цене поддержки в терминах министерских регалий и ресурсов. Таким образом ресурсы, которыми „делится“ эстаблишмент с „племенами“ в значительной степени оседают в бюрократическом аппарате племенных вождей и их свит.

Правящему клану нужно ограничить влияние каждого отдельного племени на внешнюю политику, оборону, распределение земельных ресурсов, промышленность, средства информации, образование. Один из способов: подкуп или шантаж племенных вождей, а также раздувание и культивирование племенной розни.

Социальная мобильность

При кланово-племенной структуре общества показатели социальной мобильности занижены, чего собственно и добивается гомогенный эстаблишмент. Тем более неожиданным для него оказался феномен Биби Нетаниягу.

С самого начала своей карьеры он обещал увеличить социальную мобильность. До него никто не только не ставил таких задач, но даже не прибегал к таким формулировкам, не включенным в здешний политический лексикон.

Его личная мотивация неясна, – то ли сказался американский опыт, то ли старые элиты мешали ему, и он хотел преодолеть их инерцию и косность с помощью новой энергии и новых идей, – так или иначе он не вошел в спайку с верхними эшелонами (в том числе и с номенклатурой своей собственной партии) и начал, с подачи своего ближайшего промоутера и помощника Либермана, проект реформирования центров влияния в масштабах одной партии, а затем и в масштабах всего государства.

Интересно, что свой план увеличения социальной мобильности и смены элит Биби провозгласил открыто еще в период борьбы за власть в своей партии. Тем не менее эта политика оказалась в Израиле настолько беспрецедентным явлением, что была интерпретирована как результат „дурного характера“, „неумения ладить с людьми“ и „самодеструктивность“. О какой смене элит он говорит? – недоумевали журналисты. – Разве он сам не принадлежит к той же элите? Разве Эгуд Барак не был многолетним другом семьи Нетаниягу? Разве он не одного поля ягода с теми, кто составляет сегодня верхний эшелон? До сих пор идеологические различия и смены правительств не приводили к вторжению во властные структуры всяких „либерманов“ и других „чуждых элементов“. Действительно, у Биби не было никакого личного интереса открывать второй фронт борьбы за власть. Довольствуясь номинальной властью и приручив прессу, он мог оставаться премьером и по сей день. Но многоплановая атака на эстаблишмент на всех уровнях не оставляла ему многих шансов долго продержаться на посту. Поэтому он действовал в большой спешке. Новые человеческие ресурсы, новые кадры формировались на обочине его партии, а также в поселениях, среди религиозных, русских и т.п. (при этом мобилизация поддержки и человеческих ресурсов происходила без посредничества „племенных вождей“

и „официальных“ лидеров клик). Именно их них, из новых, предполагалось создать альтернативный эстаблишмент и заменить им старый. Биби оставил косный аппарат своей партии и стимулировал отток человеческих ресурсов в новые динамические и агрессивные образования (ШАС и Либерман), которые являются более эффективными инструментами в процессе ускорения социальной мобильности, нежели идеологическая традиционная оппозиция в лице Ликуда с его оторванными от жизни „принцами“. Когда нарушается обычный порядок, задеваются интересы тех, кто прямо или косвенно зависит от привычного уклада вещей. Реакция традиционных элит была предсказуемой: армия, секретные службы, промышленники, землевладельцы, пресса и политическое лобби объединились против Биби. Гораздо менее предсказуемым оказалось поведение некоторых его союзников, которые подрубали сук, на котором сидели и создавали саморазрушительные помехи. Это сражение с многоглавым драконом закончилось поражением Биби, но несколько голов у дракона ему все же удалось отрубить. Государственные монополии были ослаблены. Монетарная система была либерализована, что подорвало интересы тех монополий и близких к ним кланов, которые имели эксклюзивные возможности инвестиций за рубежом. Впервые в истории государства израильская финансовая система была демократизована и шекель стал конвертируемой валютой.

Лед тронулся.

Биби создал экономический базис для перемен в структуре управления и накалил общественную температуру так, что под крышкой котла социальных перемен вскипела смесь.

Вторая израильская нация

Считать ли это парадоксом, или такова пост-модерновая реальность, но один из самых умных, интересных, талантливых лидеров, которые когда либо возникли в израильской политике, выдвинулся на самой „архаичной“, „примитивной“ обочине общества. Еще в первые годы ШАСа, когда молодой Арье Дер'и держался в тени тогдашнего лидера, он приковывал к себе внимание, возвышаясь над общим уровнем местного политического ландшафта, на фоне которого его интеллектуальное превосходство становилось очевидным. Даже идеологические противники называли Дер'и „самым талантливым человеком среди израильских политиков“.

Именно тогда началась борьба между Дер'и и правовой системой, которая продолжается более десяти лет.

Костюм племенного вождя очень скоро затрещал на нем, но при кланово-племенной системе его таланты не могли быть применены на государственном уровне. Если бы потенциал Дер'и использовался не только на секторальном уровне, положение страны, в том числе и в плане мирного процесса, могло бы сегодня быть совсем иным.

Нельзя недооценить воздействие на общество, которое оказал Арье Дер'и. Он сумел сформировать и возглавить движение общественного и культурного протеста, – как против дискриминации при распределении ресурсов, так и против культурного патернализма элит, навязывающего свое понимание культуры и прогресса. Дер'и продвинул себя и свое движение в верхние эшелоны власти и создал солидную экономическую и социальную базу для появления в стране альтернативной политической культуры. Он вывел часть общества из-под воздействия средств информации и создал обширную инфраструктуру влияния, которую государство не в состоянии полностью контролировать. Как министр, он создал разветвленную систему социальной помощи, как это и положено в современном западном государстве, с той лишь разницей, что он это создал в обход государства, которое не имело ни мотивации, ни навыков, ни законов, направленных на масштабное решение социальных проблем.

Если бы Дер'и был просто племенным вождем, его бы ублажили. Но Дер'и как идеолог и потенциальный лидер „второго Израиля“ оказался опасен для эстаблишмента и должен был быть уничтожен еще до того, как он сумел реализовать этот свой потенциал (хотя, если бы у нас был дальновидный эстаблишмент, он не довел бы дело до конфронтации с Дер'и, а интегрировал бы его и дал бы возможность и ему, и второму Израилю внести свой вклад в формирование израильской модели). В войну эстаблишмента с Дер'и втягиваются все новые и новые факторы. Она поглощает столько энергии и ресурсов и высвобождает такие сильные общественные энергии, что уже давно вышла за рамки „дела о коррупции“, которых было множество в истории израильских правящих структур.

Поставленный в экстремальные условия, Дер'и, может быть сам того не желая, пробил брешь в столь удобной для эстаблишмента племенной структуре. С его подачи начался процесс объеди-

нения части племен (причем не по этническому признаку) в то, что он определил как „вторая израильская нация“.

В то время как израильские элиты усвоили концепции „племен“ и научились ими манипулировать с помощью племенных вождей и прочих „фраеров“, Дер'и сформулировал концепцию „двух наций“. Кстати, в интервью американским средствам информации накануне выборов он включил в состав „второй израильской нации“ восточных сефардов, ортодоксов-ашкеназов и... арабов. Эти высказывания в его устах интересны и неожиданны также своей теологической некорректностью.

Как лидер сефардской революции, как воспитанник ашкеназийской ультра-ортодоксальной системы образования и как человек, который верит в общность культурных интересов между сефардами и арабами – Дер'и обладал всеми данными для того, чтобы начать процесс консолидации племен. „Если ты создал блок Израиль-1, – сказал он Бараку, – то я построю Израиль-2“. Он не успел этого сделать сам. Но процесс консолидации племен начался.

Сравним сегодняшнее положение с тем, что мы имели до Дер'и. Справа – ревизионистские принцы с хорошими манерами. Чуть правее – хорошие мальчики в кипах, которые, размахивая флагами, очень стеснялись, когда из их среды выходили камикадзе. Слева, преимущественно в салонах, модный „пост-сионизм“, который работал на мирный процесс. Со стороны сефардов – домашняя кошечка под названием „культура ладино“ – *dorme, dorme...* (спи, спи... – *ладино*). В роли социальных бунтарей и аккумуляторов протеста – мало-эффективные и мало-влиятельные Черные Пантеры. Со стороны религии – *rites de passage*.

После Дер'и вместо *dorme, dorme* вы получаете ритуалы аутентичной народной культуры; патроном сефардской культуры становится суперинтеллигент – не бывший президент Навон, а каббалистический раввин; место Черных Пантер занимают хорошо организованные ученики ешив; сладкой патоке мира с арабами противопоставляется потенциально возможное сотрудничество с ними на внутреннем фронте с целью ограничить западное влияние в Израиле и в регионе; вместо *rites de passage*, или теологических изысков, вырисовывается альтернатива теократического государства в государстве. А на политическом фронте – формирование оппозиции нового типа, которая не разделяет с правящей струк-

турой базисного, хотя и чисто условного, израильского консенсуса и способна сформировать альтернативную пост-сионистскую модель*, основанную на галахе.

Теневой эстаблишмент

Демократия, вернее ее видимость, может сохраняться до тех пор, пока просвещенное меньшинство умело манипулирует менее просвещенным большинством в очень общих интересах государства. Но что происходит, когда большинство становится более продвинутым и при этом сознает, что „интересы государства“ правящее сословие трактует слишком произвольно?

В этом случае оно выдвигает из своих рядов альтернативную руководящую группу, которая вступает в борьбу с традиционной элитой. И если последняя полагает, что „государство – это я“, то любая попытка модифицировать, модернизировать или реформировать модель государственного устройства тотчас объявляется „покушением на демократию“.

Именно такое „покушение на демократию“ предпринял Авигдор Либерман, который предъявил правящим структурам хорошо аргументированное обвинение в неэффективном и неумелом руководстве.

До Либермана все молчаливо соглашались с тем, что сословие, которое управляет государством, как бы имеет на это право. Отношение к государству в стиле „государство – это я“ считалось как бы продолжением патриотизма (или вознаграждением за него). Ну конечно же, они раньше сюда приехали, они осушали болота, они строили это государство от его начала. Стало быть, оно им, как бы, принадлежит. Со всеми его институтами, ресурсами и правовыми органами. Они такие патриоты, и заслуги их перед отечеством так велики, что им и положено этим отечеством управлять по собственному усмотрению. Если управлять племенами можно только с помощью племенных вождей, то это, в конце концов, вопрос денег, почестей и определенной культурной автономии. Что касается границ, армии, полиции и правовой систе-

* Ведь до сих пор пост-сионизм был уделом левых салонов и историков. Пост-сионизм культивировался как освобождение от идеологии и примирение с арабами без наведения мостов культурных и стратегических интересов.

мы – тут уж не до шуток. В какой-то момент система может дать сбой. Кто-то должен был, наконец, сказать: стоп. Полное отождествление интересов государства с интересами только одного слоя населения – это нездоровое и недемократическое явление. Государство принадлежит его гражданам не только номинально. Государством и его институтами нельзя управлять произвольно.

Не случайно именно это сказал Авигдор Либерман, который еще три года назад поднял из обломков Ликуд, в роли помощника и промоутера Биби. До Либермана большинство населения полагало, что у нас все-таки есть демократия. Либерман же в течение всего лишь одной пресс-конференции сумел показать, что король израильской демократии голый, а такие институты, как суд и полиция, которые должны защищать демократию, на самом деле защищают от демократии правящее сословие, его привилегии и структуру власти, которая изжила себя.

Опять-таки зрелый и дальновидный эстаблишмент в старых странах имеет в своем арсенале прием под названием *annihilation by acceptance*: то есть уничтожение бунта в зародыше самим фактом его приятия. В конце концов, устойчивая система может себе позволить принять какую-то дозу "fuck the system attitude" – хотя бы в виде теста**.

Но реакция нашей системы на Либермана говорит о ее слабости и неустойчивой конструкции, которая держится на запретительных

** Реакция умного и зрелого эстаблишмента на Либермана должна была бы быть такова: берите и бегите. Эта единственная альтернатива латентной гражданской войны. Только сотрудничество может предотвратить эскалацию израильско-израильского конфликта, из которого вы вряд ли выйдете победителями.

Имя Либермана на своей стороне, правящий клан мог бы компенсировать свою органическую неспособность к полноценному диалогу вне клана. Один Либерман с его диапазоном коммуникаций мог бы, во-первых, заменить сотни разноплеменных вожаков, референтов и патронов клик, не говоря уже о его способности генерировать и реализовать новые идеи. Не исключено, что какая-то часть эстаблишмента действительно отдает себе в этом отчет. Как бы то ни было, пресса, прежде травившая Либермана, сменила гнев на милость, а глава правительства уже относится к нему с подчеркнутым уважением.

знаках: здесь не трогать – опасно, здесь осторожно, туда вход воспрещен, а здесь – полное табу. Либерман ткнул пальцем – и система засигналила, загоревшись всеми красными лампочками.

Истерическая реакция эстаблишмента на Либермана объяснялась тем, что он попал в самую точку. Впервые обществу устройству, в котором власть, статус и влияние передаются по наследству, были предъявлены такие серьезные претензии. До Либермана кланово-племенная структура, которую уже стесняются носить даже на задворках Третьего мира, успешно проходила как „западная модель“ последнего образца.

Либерман сфокусировал стремление самых передовых слоев общества к радикальным реформам, и положил начало формированию „теневого эстаблишмента“, который предлагает более эффективную модель управления, чем кланово-племенная.

Как и его друг Дер'и, Либерман расшатал основы кланово-племенной структуры. Но если, согласно видению Дер'и, формируются две непримиримые израильские нации, по Либерману есть шанс предотвратить конфронтацию между ними.

Либерман обладает таким диапазоном коммуникаций и воздействия, о каком представители правящих структур могут только мечтать. Ему не нужно надевать кипу, чтобы его приветствовали в любом ультра-ортодоксальном квартале – несмотря на то, что он создал партию, где имеется значительный процент любителей свинины. „Русские“ идут за ним, несмотря на дружбу с Дер'и. Шасники „прощают“ ему русскую партию. Он одинаково свой в элитных салонах и среди „низов“ Ликуда, ладит с жожаками Гистадрута и с предпринимателями, с „элитистами“ и с „популистами“. Многие политики мечтали бы обладать сотой долей его диапазона, который выходит за рамки партии и преодолевает культурные и этнические барьеры.

Почему? Потому что Либерман не представитель клана и не племенной вождь. Он первый и пока что единственный политик, который не является продуктом кланово-племенной системы. Он вобрал в себя весь спектр израильской идентификации и стал, по выражению депутата Кнессета Элизера Козна „самым настоящим израильтянином из всех, кого я знаю. Для того, чтобы учесть и совместить интересы всего этого калейдоскопа ему не нужны ни референты, ни PR, ни посредники, ни жожаки клик. Стоит ему открыть рот, и тысячи людей различных израильских националь-

ностей говорят: „Либерман прав!“ (Этот предвыборный лозунг партии Либермана был не придуман копирайтерами, а „подслушан“ в русских компаниях).

В ы в о д ы

Племенная структура общества, хотя все еще позволяет „старшему брату“ управлять страной, но делает это управление неэффективным в плане общегосударственных интересов. Всякий раз, когда нужно осуществить что-то новое, возникают многочисленные помехи. Очень трудно, почти невозможно, учесть интересы всех племен, клик, гильдий и прочих групп давления. Клан не может управлять без того, что на израильском политическом сленге называется "askouna" (то есть племенные вожаки местного значения, главари клик, брокеры электронных торгов), чья иерархия определяется количеством фраеров, которым они могут продать „данную“ партию или ее босса. Сохранение статус-кво, то есть нынешней структуры власти при нынешней иерархии, обходится все дороже в терминах национальных ресурсов и энергии.

Еще труднее удовлетворить амбиции всех и вся. Каждый „племенной вождь“ тянет одеяло на себя. Интересы государства, в том числе, возможно, даже стратегические интересы, оказываются под угрозой, если они противоречат интересам какого-то клана.

Правящее сословие может еще на некоторое время сохранить свои привилегии с помощью тех самых фраеров, которые никогда не переводятся, а только меняются: племенные вожаки-„божки“ – русские и курдские, марокканские и бухарские будут сменять друг друга еще какое-то время – пока не произойдет неизбежная консолидация племен в две израильские „нации“, противостоящие друг другу.

„Первая израильская нация“, из рядов которой формируется правящий клан, с тревогой наблюдает, как „вторая израильская нация“ становится на ноги, обзаводится материальной базой и строит свои собственные альтернативные институты влияния. Она опирается на другие авторитеты, имеет свою систему образования, альтернативные средства информации и не боится поставить на повестку дня возможную альтернативную модель: в данном случае – галахическое государство.

Посмотрим правде в глаза: судя по всему, правящее сословие

не заинтересовано в демократии, поскольку опасается, что в течение одного поколения в Израиле возникнет демократическое большинство в пользу модификации модели общественного устройства.

Позиции, на которых до сих пор стоял правящий клан – это последовательное выхолащивание демократической сути из нашей общественной жизни, наряду с сохранением фасада и формальных признаков демократии. Имея заангажированные средства информации, можно, по Орвеллу, представить ограничение демократии, как ее „защиту“.

Но по мере консолидации племен в две нации, не разделяющие друг с другом ни базисного консенсуса, ни образа жизни и мысли, и имеющего две разные духовные столицы (Иерусалим, Тель-Авив), можно ожидать учащения тоталитарных импульсов.

Например, как могут повести себя армия и службы безопасности в условиях, скажем, демократического большинства в пользу галахического устройства государства? Об этом можно судить по алжирской модели с поправками на стиль, нрав и псевдо-демократический камуфляж. Впрочем, в последнее время тоталитарные импульсы все чаще пробиваются и сквозь камуфляж. Показательны откровения одного из руководителей службы безопасности, который открыто говорит о новой роли этих служб в ближайшем будущем: около сорока процентов населения страны, сказал он, не солидаризируются с сионизмом, не встают при исполнении гимна и это, якобы, налагает на службу безопасности особую ответственность.

Есть ли альтернатива? Дальновидный эстаблишмент не стал бы ввязываться в авантюры с хунтами, умный эстаблишмент упразднил бы институт политических брокеров и племенных вождей, которые одинаково истощают и управляющих и управляемых. Он вошел бы в прямой контакт с теневым эстаблишментом Либермана и „второй нацией“ Дер'и – вместо того, чтобы шарить по социальным помойкам в поисках этнического декора и хулиганствующих молодчиков.

Если тенденция, которую заложил Либерман – тенденция реформы и демократизации, наберет силу, израильско-израильский конфликт может пойти на убыль. Равные возможности, независи-

мо от этнического или идеологического происхождения; повышение уровня и качества жизни благодаря эффективному управлению; земельные и налоговые реформы – все это снимет внутреннюю напряженность. Новый эстаблишмент вберет в себя представителей старых и новых элит. В условиях подлинной, а не виртуальной демократии будут сняты все табу. Обе израильские нации включатся в процесс поиска подлинного, а не мнимого консенсуса. Страна выйдет из состояния латентной гражданской войны. Возникнут новые идеи урегулирования израильско-арабского конфликта и интеграции в регионе.

Если же тенденция ригидного кланового управления победит, то эскалация израильско-израильского конфликта неизбежна, а вместе с ней и дальнейшее ограничение демократии. И если вы окажетесь между двумя ригидными структурами, например, между хунтой и клерикалами, то лучше собирайтесь и бегите.

Илья Донат

ВИВАТ, ДЕМОКРАТИЯ!

Статья г-жи Н. Гутиной вызывает представление о движущихся фигурах на просвете рентгеном: перемещаются костяки, мягкие ткани разве что угадываются. Этот „рентгеновский“ взгляд на израильскую политику (да и на политику, вообще) тянет назвать циничным, однако тут же приходит в голову, что политика и политики на деле еще циничнее, чем их гутинское изображение. Читателю, не бегущему от „низких истин“, следует быть благодарным г-же Гутиной за блистательное превращение общественных идеалов, мифов и сантиментов в мягкие ткани на ее экране действительности.

В самом деле. Удачливые соискатели власти и влияния постепенно окружают себя своими стаями (свитами, кликами – назовите как угодно), с боем выбиваются наверх и там, наверху, соперни-

чают друг с другом, держа за наивысшее место. Все это нормально для человеческих джунглей; так было и так будет; слабонервных просят отвернуться и приложить к носу надушенный платок. Только вот почему все это рассматривается г-жой Гутиной как „демократия“?

А вот почему. За выражениями „с боем“ и „дерутся“ в данном случае отнюдь не скрывается использование танков, частей особого назначения, эффектных терактов и растущих, как грибы, концлагерей. Главное, что используется в этой борьбе, – голоса избирателей. Избиратели же есть народ, демос; стало быть, демократия налицо. Мысль не новая и, как говорится, здоровая. Понятие „тика власти“ оказывается бессодержательным. Правда, за такую демократию как-то не очень-то захочется рисковать жизнью – например, где-нибудь на позициях в Южном Ливане. Ладно, еврейский солдат утешится тем, что, по крайней мере, не диктатуру защищает.

Большое спасибо, что политики не шлют черные воронки к нашим подъездам, а убеждают голосовать за себя, эксплуатируя нашу глупость, доверчивость и мечту о справедливости. В то же время не стоит упускать из виду, что доверчивых идеалистов сегодня почти не осталось в Израиле: мы ученые. И тогда возникает вопрос: каким же образом соискателям власти удастся получить наши голоса? – Существует испытанная технология.

Для этого политики старательно раздувают присущее нам стремление принадлежать к той или иной обширной группе (иначе мы чувствуем себя отчужденными и затерянными). Дело идет особенно бойко –

а) если группа „наших“, к которой нам внушают примкнуть, – это привилегированная группа, которой грозит потеря ее привилегий;

б) если группа „наших“ – это, напротив, масса социально и материально ущемленных людей со сходными представлениями о том, как и за счет кого улучшить свое положение.

Обычно соискатель власти – сам выходец из подобной группы (типа „а“ или „б“), обещающий отстаивать наверху ее интересы. Получив власть, он в определенной степени выполняет данные обещания: хотя бы потому, что в противном случае за него больше не проголосуют, предпочтут другого (а претендентов – всегда пруд пруди). Итак, в результате политической деятельности наверху оказываются элиты, представители групп, накидывающиеся на

бюджетный пирог, чтобы отхватить от него для „своих“ кусок побольше. И не забыть про себя. Талантливым считается политик, умеющий учитывать интересы чужих ему влиятельных групп и оставлять им тоже что-нибудь на тарелке, дабы не доводить дело до взрыва, однако и оставаться при своем выигрыше. Для этого используются приемы лавирования, нажима, подкупа, а бывает, и беспардонного обмана.

Это, господа, и есть демократия. Чтоб вы знали.

А теперь капнем духов на платочек, прижатый к носу. Вот некоторые компоненты ароматической смеси „Демократия“, один доллар за флакон.

„Общее благо“: идея о том, что любому слабому человеку, пока он не нарушает законы общества, обеспечиваются условия если не для хорошей, то хотя бы для сносной жизни; тогда долг политика – заботиться о росте числа рабочих мест, о строительстве приютов, удешевленных квартир, бесплатных столовых и т.п. Искусный политик должен уметь склонить соперничающих сильных ко взаимным компромиссам на благо слабых. Выигрыш: слабые полюбят его и отдадут ему голоса на очередных выборах.

„Интересы нации“: идея о том, что политику следует заботиться о консолидации народа путем смягчения, а не выпячивания межгрупповых противоречий. Сплочение должно детерминироваться не только извне (кровожадные враги вокруг), но и изнутри: культивированием атмосферы доверия (на Западе уже показано с цифровыми выкладками, что при доверии деловых партнеров друг к другу, частный и общий экономический выигрыш выше, чем при недоверии). Отхватывание бюджетного куска именно для „своих“ плохо согласуется с этой идеей. Взаимное недоверие превратилось у нас в норму общественной и деловой жизни.

„Приличия и достоинство“: идея о том, что оттяпывание благ для одних в ущерб другим может быть *тайной* целью политика (в чем его следует изобличить), но не может быть целью *явной*, открыто декларируемой. Это попросту неприлично в цивилизованном обществе. А казнокрадство, шантаж, подкуп, мздоимство и педалирование на низменных чувствах возбужденной толпы – несовместимо с достоинством государственного мужа. Даже если он не менее талантлив, чем г-н Арье Дери, столь превозносимый г-жой Н. Гутиной.

...Подышали? Вернемся к реальности.

Г-жа Гутина полагает, что сосредоточение власти в руках некой единственной элиты – противоречит демократии. Правдоподобно. Но не очевидно.

Суть дела в том, как устроена рассматриваемая элита и представляемая ею группа. Если ее структура тоталитарна, – правильно, демократии конец. Но если эта элита (и эта группа) живет по принципу открытой борьбы мнений („поперечное“ мнение не наказуемо), тогда одни лидеры неизбежно заменяются в ней другими: теми, кто эффективнее работает для „общего блага“ и „интересов нации“, заботясь при этом о „приличиях и достоинстве“. Такие новые лидеры попросту собирают больше голосов, вызывая доверие не только у „своих“, но и у всего населения.

Г-жа Гутина утверждает: вот если бы рядом с существующей элитой сформировалась еще одна (две, три, четыре), это пошло бы на пользу демократии. Опять не очевидно.

Это было бы так, если бы каждая из новорожденных элит представляла группы с надежными демократическими традициями. Если же хоть одна из групп тяготеет к тоталитаризму, то формирование ею собственной элиты никак не способствует росту демократии. Как можно забывать о приходе к власти германских нацистов – демократическим путем?!

Разовьем мысль. Забавы ради, пофантазируем о том, как нам обустроить в Израиле тоталитарную „русскую“ партию.

1. Ее лидер в открытую заявляет: мы, выходцы из бывшего СССР, – люди высокой культуры и морали, а аборигены – отсталые и примитивные. По радио и в залах систематически выступает духовный лидер „русских“, потрясая слушателей философской и исторической эрудицией. Повсеместно и настойчиво проводятся какие-нибудь пушкинские чтения, конкурсы на знание русской музыки, живописи и т.п. Иврит объявляется языком дикарей и мракобесов. У магазинов и предприятий, хозяева которых не отвечают по-русски на русскую речь, выставляются пикеты протеста. Поговаривают о поджоге фалафельных, поощряется открытие вареничных.

2. „Русская“ партия создает собственную сеть детсадов, школ, клубов, бесплатно предоставляя посетителям питание, форменную одежду и социально-психологическую помощь. Суды Израиля объявляются юридически несостоятельными, их решения – противозаконными. Партия создает „русские“ адвокатские конторы и

„русские“ суды с их альтернативными приговорами. Поговаривают о тайной группе „Белые волки“, карающей аборигенов за оскорбление или ущемление „русских“.

3. Свита „русского“ лидера жестко иерархизирована: слово вышестоящего – закон для подчиненного. По той же модели строятся свиты низовых, мелких лидеров. Отступающим от правил, принятых в „русской“ группе (а об этом обязательно настучит сосед!), грозит решительное изгнание из нее с утратой всех благ принадлежности к ней. В то же время любой член группы видит: у него есть шанс пробиться наверх и иметь больше, чем он имеет, не открывая магазинчик или мастерскую, а всего лишь проявляя заметную активность в качестве функционера Партии.

Эх, кто бы дал парочку миллиардов зелененьких на такую партию! Да еще не разворовала бы половину денег ее верхушка! Кого не купим, того запугаем... Что? Антисионистская, говорите, партия? Подумаешь! Разве нет у нас еврейских анти-сионистских партий? Или арабских партий, открыто работающих на будущее государство Фалястын? Демократия, господа!

А теперь вопрос: каким будет процент „русских“, отдавших описанной нами Партии „УЧИС“ („Ум, Честь И Совесть“) свои голоса? Верно: свыше 90%. С годами электоральная мощь Партии совпадет с показателями рождаемости в семьях „русских“, не зря обработка начинается с детских садов!.. И не правда ли, элита „УЧИС“, рассевшись в Кнессете и Правительстве, поднимет израильскую демократию на неслыханную высоту?

Обезвредить и утихомирить такую партию израильскому обществу удалось бы единственным путем: преследуя ее за вскрытые противозаконные действия и способствуя ее расколу на множество враждующих между собой фракций. При этом понадобится постоянно твердить: мы любим, любим „русских“ – да, их, – но не эту ужасную „УЧИС“ (так в России любят сейчас чеченцев, но не их боевиков).

Словом, г-жа Н. Гутина отчасти права: многополюсность власти есть необходимое условие для осуществления демократии.

Но – не достаточное.

Так что здесь в ее суждениях обнаруживается некий дефект: не столько этический (Б-г с ней, с этикой), сколько логический.

ГОСУДАРСТВО ИЗРАИЛЬ И ПРИНЦИП РОСТОВЦЕВА

Михаил Иванович Ростовцев родился в Киеве. Международную известность принесли ему книги по общественной и экономической истории Римской империи.

Далеко за пределами академической среды М.И. Ростовцев стал известен благодаря своей знаменитой идее общности судьбы всех человеческих сообществ, созидających собственную культуру, будь то древнегреческий город или современное западное государство: созидательный период для каждой культуры недолговечен, утверждает Ростовцев. Разрушение созданного и распад самого сообщества predeterminedены с самого начала его возникновения. Перед каждым сообществом лежат два пути: замкнуться в себе и не впускать чужаков или распахнуть настежь двери перед потоком извне и интегрировать его в свою среду. Замкнутость приводит к быстрому разрушению. Силы основателей иссякают через несколько поколений и созданное ими разваливается от внутренних потрясений или под ударами врагов. Сообщество, открытое для чужестранцев, награждается за это более длительным существованием. Свежая кровь укрепляет стареющую аристократию отцов-основателей.

Но и здесь погибель подстерегает в засаде. Чужаки равнодушны, а иногда даже враждебны к идеалам основоположников. Набрал силы, они начинают копать под существующий порядок вещей, ослабляют позиции ветеранов, а на последнем этапе даже уничтожают их. Ростовцев хорошо изучил гражданские войны в древних греческих и римских городах. И на собственной шкуре испытал падение Российской империи.

Схема Ростовцева неоднократно воспроизводилась в Израиле с прибытием каждой новой волны алии. Макс Нордау – один из виднейших сторонников Герцля – в 1920 году выдвинул предложение: поселить в Эрец Исраэль 600 тысяч евреев и тем самым обеспечить им победу в демографическом противостоянии арабам. Почему 600 тысяч? Потому что такова была численность арабов в стране. Это было утопическое предложение, не имевшее никаких шансов на реализацию. Если бы это предложение начало

воплощаться в жизнь, оно бы встретило гневный протест в партии Авода, являвшейся доминантной политической силой в ишуве, видевшей в Эрец Исраэль лабораторию по выращиванию „нового еврея“, и поэтому готовой воспринимать такой массовый приток „старых“ галутных евреев как смертельную угрозу своей мечте. Берл Кацнельсон еще до своей алии в 1909 году писал своему брату, что его целью в Палестине является не поиск решения проблемы общеврейской а, в первую очередь, проблемы евреев России. Т.е. им руководила забота исключительно о „наших евреях“, в первую очередь о группе еврейских интеллигентов, не принятых в русско-еврейские политические партии и пытавшихся создать для себя независимые рамки существования в Эрец Исраэль. Такой подход к еврейскому государству как к стране „наших евреев“, а к остальным как к непрошеным попутчикам, превратился в молчаливую линию в политике сионистских организаций и государственных структур Израиля.

Англичане, захватившие Палестину в 1918 году, застали здесь 56 700 евреев. В 1931 году их численность составляла 174 000 человек. В 20-х годах освоившиеся в стране евреи второй алии встретили новую алию евреев, принадлежавших к среднему классу, как нежелательную. Они давали им презрительные прозвища „газузников“ – так называли продавцов газированной воды, или спекулянтов земельными участками. Точно так же и для алии 30-х годов из Германии жизнь здесь не показалась медом. Они привезли с собой деньги, высокий образовательный уровень и профессиональные знания, но встретили здесь недоброжелательное отношение к себе. Этот селективизм на государственном уровне был сломан после Войны за независимость, но религиозные структуры продолжают строить препоны русской алии и до сих пор. Жизнь заставила государство отказаться от селективизма, склонность к которому была характерна для него на протяжении многих лет. Тем временем окрепли силы „нежелательных попутчиков“ и именно они теперь определяют, в чьих руках находится власть – Ликуда или Аводы. Именно таким образом начала реализовываться доктрина Ростовцева.

В сионистско-светской повозке государства Израиль обосновались два вида попутчиков: ультраортодоксы и арабы. И у тех, и у других есть сильное представительство в Кнессете, являющемся сердцем израильской демократии. Между этими двумя фрак-

циями в Кнессете замечательные личные взаимоотношения.

У двух этих групп общая цель – свести на нет сионистско-светский характер государства и заменить его на другой. Мечтой религиозных является галахическое государство, а мечтой арабов – двунациональное. Такое государство, в сущности, устроит и ультраортодоксов, если еврейское население будет организовано как община, живущая по Галахе. Во времена господства ислама здесь существовало еврейское гетто – галахическое образование при господстве исламского большинства. Еврейское государство Галахи намного удобнее для арабов, чем светское государство, к тому же обладающее ядерным оружием.

Раввины из Агудат Исраэль, станового хребта ультрарелигиозной политики, так и не смогли примириться с возникновением государства Израиль, созданного не мессией, явившемся на белом осле, а нерелигиозным светским большинством. После долгих колебаний они нашли некое теологическое решение этой проблемы и выдали такое свидетельство о кошерности: государство Израиль не является заветным царством Божиим на земле, а только коридором, ведущим к этому царству, коридором, являющимся „нир ле Тора“ – бороздой, прокладываемой к царству Торы, т.е. общественным образованием, позволяющим жить по законам Торы и готовить религиозную интеллигенцию. Ватикан также не сразу смог осознать значение создания государства Израиль и только после 40-летних колебаний решил, что это все же не сатанинское творение, а Божий промысел, и выдал и свое католическое свидетельство о кашруте.

Общие социо-экономические характеристики объединяют ультрарелигиозных и арабов. И те и другие свободны от службы в армии. И те и другие относятся к самым бедным слоям израильского общества. Арабы – вследствие образовательного и технического отставания, а ультрарелигиозные – потому, что их мужчины заняты изучением Торы. И у тех, и у других высокая рождаемость. И у тех, и у других высокий уровень социальной поддержки, благодаря многодетным семьям, а у харедим и благодаря тому, что они содержат ешивы.

Особенно большой вред, причиняемый подобным положением, – это вред в сфере политико-парламентарной, приводящий к тому, что, начиная с 1977 года именно религиозное крыло определяет, какая из двух ведущих партий приходит к власти, а какая

оказывается в оппозиции. Под влиянием таких выборных качелей, управляемых религиозными кругами, отсутствуют здоровые условия для нормального существования крупной нерелигиозной партии, несущей идеологические обязательства, т.к. если она получает власть, то это происходит только с разрешения религиозных сил. Такое положение губительно для Ликуда, но еще более разрушительно для социалистической партии Авода и либеральной партии Мерц.

Израильские арабы, второй попутчик в повозке сионистского государства, в течение десятков лет сохраняли относительное спокойствие, ограничиваясь парламентскими протестами и уличными демонстрациями. Эта идиллия была нарушена в сентябре 1999 года, когда две группы израильских арабов, каждая со своим грузом взрывчатки, отправились из своих деревень к местам скопления автобусов в Хайфе и Тверии с целью взорвать автобус с пассажирами. К счастью, их взрывные устройства, изготовленные примитивным способом, взорвались прямо в машинах вместе с ними. Это был тяжелый удар для тех наивных евреев левого толка, которые, стремясь к миру, с гордостью голосовали за мирное сосуществование евреев и арабов в Израиле и видели в этом сосуществовании мост, соединяющий их с арабским миром. Четверо взорвавшихся террористов и их помощники видели в своем плане мост совсем другого рода, мост, соединяющий израильских арабов с исламским фундаментализмом. Это событие произвело тяжелое впечатление и на Шабак. Прошло специальное заседание правительства и приняты решения. Но нет никакого сомнения, что рано или поздно в среде израильских арабов вновь возникнут террористические группы, чтобы снова ударить где-нибудь по скоплению людей на транспорте или в другом общественном месте.

Начиная с 1977 года, религиозные попутчики определяют, кто стоит у власти, а кто в оппозиции, а в вопросах внутренних дел устанавливают важные для них нормы галахического государства. Эхуд Барак хорошо отдает себе отчет, насколько вредна для его партии коалиция с ШАС, но ориентация на „достижение мира“ диктует ему этот путь. Союз с ШАС насущно необходим Бараку, чтобы продвигаться к миру, а уступки Барака насущно необходимы ШАС, чтобы продвигаться к созданию галахического государства. Какое из этих продвижений более судьбоносно для страны? Скорее всего то, что желательно для ШАС.

Для спасения сионистско-светского характера государства и для спасения двух ведущих партий от положения заложников в руках религиозных кругов жизненно необходимо правительство национального единства. Желательно, чтобы оно было создано в течение каденции нынешнего Кнессета, Кнессета 15-го созыва. Но если это не произойдет, вопрос о таком правительстве все равно станет доминантным на выборах Кнессета 16-го созыва, когда уменьшится актуальность проблем внешней политики и усилится давление насущных потребностей во внутренних делах.

НОВАЯ КНИГА

НИНА ВОРОНЕЛЬ

Полет бабочки

(роман)

„Таинственная атмосфера туманного Уэльса и старинной библиотеки в антураже многолетних бытовых традиций, исполняемых по-британски неукоснительно... Арабский властитель, стремящийся установить тайные связи с Израилем... Борьба разведок... многокрасочный kaleidoscope экстравагантных персонажей, среди которых необходимо вычислить „своих” и „чужих”... И любовь, разворачивающаяся на столь завлекательном фоне”.

„Новости недели”

378 стр. Цветная обложка

„Москва – Иерусалим”

Р.О.В. 44050 Тель-Авив 61440

(32 шек. в Израиле, 22 ДМ для Европы, \$16 для США,
включая пересылку)

САМОИЗУЧЕНИЕ

М.А. Членов

ЕВРЕЙСТВО В СИСТЕМЕ ЦИВИЛИЗАЦИЙ

Дискуссии о сущности, историческом месте и таксономическом положении еврейского народа среди народов мира продолжают не первую сотню лет. В средневековье, впрочем, они не обладали такой остротой, как в новое время. Еврейство в ту эпоху в Европе и в странах ислама представляло корпоративную группу, нормально встраивавшуюся в корпоративное в целом устройство общества того времени. Не возникало тогда и модного в наше время вопроса: „Кого считать евреем?“. С точки зрения христианской культуры еврейство представляло собой пережиток древнего дохристианского состояния, оставленное, вернее, обреченное промыслом Божиим, на вечное свидетельство торжества новой веры. В мусульманском обществе оно, наравне с христианством, также было терпимым по воле Пророка пережиточным явлением, оставшимся от предтеч творцов истинной религии. Наконец, с точки зрения самих евреев, их существование представляло собой изгнание, *галут* (*голус*), которое обрушилось на них в процессе нескончаемого диалога с Богом, карающим свой избранный народ за несоблюдение завета, заключенного между Ним и евреями в Земле Обетованной и на горе Синай. Именно *голус* и составлял с точки зрения традиционного еврейского взгляда основное содержание и смысл еврейского рассеяния. Изгнание само по себе содержало в себе мысль о его окончании, об освобождении, *геуле*, которое должно будет сопровождаться трансцендентным возвращением в Сион, в небесный Иерусалим, куда сыны Израиля чудесным образом переместятся по воле избавителя Машиаха, сакрального помазанника из дома Давидова.

Но осмысление характера еврейства меняется с наступлением эпохи еврейской эмансипации и просвещения, т.н. гаскалы. На-

помним, что эта эпоха, начавшаяся в середине XVIII в. эмоциональной проповедью великого еврейского философа и просветителя Моисея Мендельсона в Германии, не объяснялась только лишь внутренними процессами, протекавшими в еврейском обществе. Напротив, причины ее и последовавшего вместе с ней радикального преобразования социального и культурного облика европейского (а в наши дни уже и восточного, включая израильское) еврейства, в значительной степени кроются в общем развитии европейского социального устройства. Евреи оказались последним элементом Европы, который откликнулся на кризис корпоративного общества, т.н. *ancien regime*, ставший абсолютным и непреодолимым к концу XVIII столетия. Гибель „старого режима“, как казалось, должна была обязательно обернуться и гибелью традиционного еврейства, т.е. той еврейской цивилизации, свидетелем и соседом которой были в течение многих веков народы Европы и Переднего Востока. Именно в этом аспекте гибель еврейства предрекали многие мыслители, в том числе и сами вышедшие из еврейства, например, Карл Маркс. Действительно, уже в эпоху Просвещения традиционная интерпретация еврейства звучала несколько несозвучно времени.

Тем более не соответствовала реальности она после Французской революции конца XVIII в. Тема, казавшаяся очевидной и непротиворечивой в средневековье, с конца XVIII в. внезапно становится не просто сложной, но и тревожной, затрагивающей глубинные эмоции самих евреев, и окружающей их нееврейской среды. Различные подходы к этому вопросу, противореча друг другу и разбиваясь, порождали бури волнений и ураганы упреков, жалоб, взаимных обвинений в обскурантизме, национализме, предательстве национальных интересов и т.п. Выдвигавшиеся интерпретации тесным образом оказывались связанными с политическим и социальным контекстом эпохи, в которой они рождались, и обычно выражались в расхожих исторических или социологических терминах того исторического периода, в пределах которого они возникали. В рамках академических дисциплин попытки исторического и социологического объяснения еврейства начались с возникновением исторической школы *Wissenschaft des Judenthums* в Германии в середине прошлого века, если не раньше, и продолжают по сию пору.

Основная дискуссия разворачивается и по сию пору вокруг

вопроса об уникальности и необычности еврейского народа, выражающейся в его долговечности, предполагаемой религиозной и исторической миссии, в двойственной составляющей еврейства как одновременно осознаваемой этнической и религиозной общности. Особенно необычна этническая составляющая еврейства. Она лишена привычных признаков народа, осмысляемых на уровне бытового сознания, по крайней мере, в той части эйкумены, где до недавнего времени сосредоточивалось большинство еврейского населения – в христианской и мусульманской частях Евразии. Именно в этой части мира возникло и развилось представление об этносе, как правило, покоящееся на общности происхождения, языка, родины, бытовой культуры, выражающейся в обрядном и поведенческом комплексах. Академические исследования этой проблемы, в том числе и бытовавшее в советской этнографии учение об этносе, так или иначе отталкивались от названных евразийских бытовых стереотипов.

Вместе с тем, еврейство осознает себя в качестве „народа“ – понятия, как бы скалькированного с библейского (древнееврейского) „ам“. Евреи рассматривают себя сами и нередко воспринимаются извне в качестве этнической (варианты – национальной, народной и пр.) общности, хотя именно этнически еврейство необычайно полиморфно, многоязыко, многокультурно и даже многорасово. Мало того, в еврейском понятии „народа“ присутствовала, до создания израильского ишува, скорее теоретическая, чем практическая привязка к евразийскому стереотипу „народа“. Формируясь на вполне определенной территории, развиваясь в рамках вполне конкретных лингвистических идиом на протяжении столетий, обладая пусть слегка девиантными, но все же привычными для общего культурного окружения моделями бытовой поведенческой культуры, евреи настаивали на своей чуждости окружению и рассматривали себя сами в диаспоре всегда в качестве пришельцев или изгнанников, носителей некоей предполагавшейся иной этнической культуры, чем та, в которой реально существовали те или иные еврейские субэтнические группы.

Комментируя эту ситуацию, Мартин Бубер писал: „естественной внешней ситуации по отношению к своему народу не было у еврея, особенно западного. Отсутствовали все элементы, которые могли бы образовать для него нацию, сделать ее реальностью, а именно, земля, язык, жизненный уклад. Страна, где он *живет*, природа,

которая *окружает и воспитывает* его, сознание, язык, на котором он *говорит* и который *окрашивает* его мысли, уклад, в котором он *принимает участие* и от которого *учится* своему поведению – все это не имеет отношения к общности его крови, принадлежа к иной общности“ (*курсив мой – М.Ч.*).

Основой этнической идентификации евреев оставалось в течение долгого времени исключительно народное представление (которое можно назвать так по аналогии с „народной этимологией“) об общности происхождения, взгляд на еврейство как на разросшуюся семью, потомков первопредка, ветвившихся на протяжении сотен поколений в соответствии с эндогамными нормами конического клана. Излишне говорить, насколько компонент „крови“ в этническом самосознании неадекватен реальным процессам этногенеза и этнической истории, но на уровне практической идентификационной модели он, как мы знаем, достаточно устойчив у множества традиционных этнических образований. Но одного его недостаточно. У евреев место остальных компонентов самосознания – языка, территории, бытовой культуры и пр. – занимала религия. Существенно, что галаха, религиозное законодательство, перекидывает мост между этими двумя составляющими, этничностью и религией, сплавляя их в единое целое. Специальная галахическая норма определяет матрилинейность как решающий аффилиационный признак к общности „ам“, в то же время регулируя все остальные отношения внутри этой общности на основе патрилинейного наследования. Само название еврей „Бней-Йисраэль“, т.е. „сыновья Израиля“, дети библейского Иакова, переименованного в Израиля после битвы с ангелом, определяет их как генеалогическую общность. Религиозный компонент придает этой генеалогической общности дополнительное понятие, как бы замещающее недостаток этничности – завет делает евреев носителями миссии и возлагает на них обязательство выполнения заповедей, *мицвот*, как трансцендентной мистической целенаправленности.

Даже этот очень короткий обзор идентификационной модели еврейства достаточно хорошо демонстрирует действительную уникальность евреев среди других народов и религиозных общностей. Необычность усиливается, если добавить к перечисленным особенностям долговечность существования еврейства, часто составляющую предмет гордости для самих евреев и момент подозрения

и опасения для их недоброжелателей; панэйкуменность расселения; несоразмерное численности влияние на судьбы человечества, в частности, в духовной и идеологической сферах и ряд других признаков, плохо совместимых с привычными моно-этнической или чисто религиозной моделью.

Оставляя за пределами рассмотрения проблему вариативности еврейской идентификации в шкале „этничность – конфессиональность“ в разные исторические эпохи, отметим только главный вывод – **еврейство в чистом виде не укладывается в парадигму нормальной этнической общности.**

Сам по себе этот вывод не нов. Более того, он неоднократно использовался в политических целях, в том числе в советском пропагандистском аппарате, имевшем очевидную антисемитскую направленность. Чтобы не цитировать скандально известные работы В. Ленина и И. Сталина по еврейскому вопросу, достаточно вспомнить не менее скандальную в свое время статью И. Эренбурга, в которой он категорически отрицал какую-либо связь между евреями различных стран, кроме как через антисемитизм.¹ Вплоть до перестроечных времен советская историческая наука упорно не желала признавать единство еврейского народа, что находило выражение в нелепых дефинициях, типа: „евреи – общее этническое название народностей, исторически восходящих к древним евреям“. Автору этих строк только в 1988 г. удалось добиться опубликования энциклопедической статьи, которая начиналась словами: „евреи – народ...“.²

В условиях Советского Союза отстаивание тезиса о единстве евреев как народа или нации, а не как иного типа общности, было одним из компонентов национального самосознания советских евреев и способом их противостояния государственному антисемитизму. Однако, не всегда антисемитизм стремится представить евреев как эфемерную общность. Примером может служить нацизм или современный российский неонацизм, представляющие еврейство в виде мистической inferнальной, но безусловно единой общности, неким таинственным „мировым еврейством“, стремящимся к мировому господству.

Неоднозначно отношение к этой проблеме и в самом еврейском общественном мнении. Хотя тезис о единстве евреев принимался подавляющим большинством еврейских мыслителей, характер общности осмыслялся и осмысляется по-разному. Мы уже отмети-

ли в целом этнический, хотя и архаичный характер традиционной еврейской идентификации. В советском еврействе этот „стихийно этнический“ тип понимания еврейства как сочетания генеалогии и религии сменился на чисто этническую идентификацию. Евреи бывшего СССР осмысляют себя как народ, такой же как и многие другие, населяющие регион. Аккультурация или даже ассимиляция не устранили примат этнического самосознания. Евреи, жители крупных городов, едва ли во многом отличаются от таких же армян или грузин, давно оторвавшихся от своего языка или традиционной культуры. Осмысление себя народом, или даже национальностью, подкрепляется таким же восприятием евреев и со стороны нееврейского населения страны. Но эта форма идентификации специфична именно для советского еврейства. Нигде более она не выражена в такой форме, хотя приближается к ней сионистская трактовка еврейства как нации. Согласно ей „...евреи всегда, с самого начала своей истории, были нацией в современном смысле этого слова, – по существу первой такой нацией. Гетто и концентрация еврейской жизни в изгнании на религиозных факторах являлись лишь выражением национальной воли к жизни, которая использовала религию как одно из своих средств. События современной истории есть естественное продолжение национального прошлого, ибо они представляют собой историю конфликта между ассимиляцией, то есть угрозой национальному самосохранению, и сионизмом – логическим ответом на нее“.³

С другой стороны, еврейская мысль дает образчики принципиально иного подхода к пониманию еврейства, которое почти полностью отрицает его этническую природу. Достаточно напомнить лидеров Гаскалы, или эпохи еврейского просвещения конца XVIII – первой половины XIX вв., с их призывом к отказу от еврейской национальности и сохранению верности лишь „Моисееву вероисповеданию“. Сегодня мы встречаем схожие тенденции к деэтнизации еврейского начала в некоторых западноевропейских еврейских общинах диаспоры, в частности в швейцарской, а также среди некоторых современных фундаменталистских групп, типа „Нетурей Карта“ в Иерусалиме. Последние также склонны отрицать этническое, или национальное начало еврейства, несмотря на отчетливые следы его в Торе, и концентрировать сущность общности исключительно на выполнении трансцендентной миссии.

Современный английский еврейский антрополог Джонатан Веб-

бер задает вопрос: „Являются ли евреи единым народом с общей судьбой, общим самосознанием и осознанием целеположения, или же они представляют собой ряд народов, каждый из которых определяется по своим специфическим параметрам?“ И тут же дает ответ на собственный вопрос: „Факты, во всяком случае, подтверждают оба предположения“.

Действительно, если следовать Дж. Вебберу, то скорее придется признать, что принятые дефиниции „народа“ едва ли применимы к евреям. У евреев нет общей идентификационной модели. Весьма условно евреи объединены общей судьбой. Что же касается „целеположения“, то как раз это и дает намек на определенную „ненормальность“ евреев как этнической группы. Общим целеположением объединены идеологические общности, а не этнические. Если идентификация этническая, то обычно не требуется чего-либо иного для ее подтверждения. Наверное неплохо, если индивид, принадлежащий к данному народу, что-то знает о своей культуре, говорит на своем национальном языке, следует национальной обрядности и т.п., но это вовсе не необходимо. Этничность может существовать и существует и без этого.

Еще раз отметим, что еврейская этничность не основана на тех привычных общностях, типа языка, общности территории, бытовой культуры и пр., которые характеризуют обычные этнические группы. Нельзя сказать, что евреи вовсе лишены таких признаков. Они конечно же есть и, в еще большей степени, были до недавнего времени, но они, эти свойства, не были присущи еврейству в целом. Их носители являлись внутренними подразделениями еврейства, о которых речь впереди. Идиш, например, не был языком всех евреев, а лишь ашкеназов, причем в последние два века только восточноевропейских ашкеназов, которые в какой-то момент истории численно доминировали. Татский был языком не всех евреев, а только сравнительно малочисленной группы горских евреев Восточного Кавказа. А языком всех евреев оказывался древнееврейский святой язык, *лашон акадеши*, который нигде не служил средством вербальной коммуникации. Территориально евреи уже давно расселились почти по всему миру, но, например, группа курдистанских евреев, или лахлухов, имела до середины XX в. вполне определенную территорию обитания – Курдистанское нагорье. Также можно рассматривать, как своего рода этническую территорию „черту оседлости“ в царской России, внутри которой

проживало абсолютное большинство восточноевропейских ашкеназов. То же можно сказать и о бытовой культуре – внутри еврейства существовало и еще существует немалое количество специфических культур, каждая из которых является своеобразной местной реализацией некоторой общей макрокультурной модели, которая присуща еврейству в целом. Каждая из этих локальных культур присуща отдельным подразделениям еврейства, тем самым, которые оказываются специфическими по признакам языка и территории.

Это подводит нас к выводу о том, что этническая структура еврейства оказывается иерархической. Евреи в целом – это как бы „крыша“ для множества форм этнического существования, объединенных каким-то осознанным комплексом признаков иного порядка. Внимательный анализ убеждает, что в каждом отдельном случае этническое самосознание той или иной еврейской группы основано на абсолютизации своей собственной культурной модели и игнорировании остальных. Ситуация эта не столь уникальна, как ее иногда пытаются представить. Она безусловно напоминает какие-то крупные культурные общности в мировой истории, объединяющие разные этнические культуры. Уникальность явления в научном анализе вообще не эвристична. Ученый не очень понимает, что ему делать с уникальностью – просто описать данное явление как единственное и развести руками, или все же попытаться найти правильную парадигму для описания явления, которое предполагается уникальным, найти тот род явлений, в котором данное не казалось бы чужим. Общество, как и природа, не терпит ни пустоты, ни единичности. Любая уникальность требует научной интерпретации.

Иное дело – религиозное мышление. Оно как раз опирается на множество уникальных и изолированных, отдельно взятых элементов, которые связываются друг с другом только в рамках широкой мистической или, во всяком случае, трансцендентной картины мира. Единичность и неповторимость – кирпичи религиозной картины мира. Характерно, что представление об уникальности еврейства укоренено именно в иудейском и христианском религиозном миропонимании. Оно, т.е. еврейство, как религиозный опыт, уникально в той степени, в какой уникален любой религиозный опыт. Эту уникальность не опровергают многочисленные структурные параллели между разными религиями. Развитая религия обя-

зательно, по определению, претендует на владение истиной, которой не владеют другие. А стало быть, она обязательно должна быть уникальной.

Как же быть с еврейской уникальностью? Следует ли рассматривать еврейство в ряду этнических образований, в который оно, как я писал выше, не вписывается? Или стоит считать его просто религией, а евреев рассматривать как своего рода конфессиональную группу? Множественность идентификационных моделей евреев, специфическая роль письменной религиозной традиции, высокая адаптивность к различным природным, этническим и социальным средам побуждает нас обратиться к иным терминологическим тезаурусам для анализа природы еврейства как культурного и социального феномена в мировой истории.

Наиболее приемлемым для описания этого явления представляется понятие цивилизации, позволяющее на социо-антропологическом уровне говорить не столько о еврейском народе, сколько о еврейской цивилизации.

Ничего принципиально нового в этом словосочетании нет, если не считать самого понимания термина „цивилизация“. В него вкладывалось множество разных смыслов. Вначале, до XVIII в., под цивилизацией понимался этикетный комплекс, противопоставленный невежественному обхождению. Затем это слово стало употребляться как синоним „культуры“ и обозначать европейские общества, основанные на письменности и государственном устройстве, как противопоставленные „дикарским“ сообществам, где этих культурных благ не было.

Развитием этого понимания можно считать „цивилизацию“ в трактовке целого ряда антропологов и социологов второй половины XIX в., как обозначение определенного уровня развития производства и социальной структуры, противопоставленного „первобытности“. Классическим примером такой трактовки является анализ Г.Л. Моргана и Ф. Энгельса. Широкое распространение получила и слегка эксцентричная шпенглеровская трактовка „цивилизации“ как декадентской стадии упадка „культуры“.

С середины XX в. социологическая наука начинает все чаще говорить не столько о цивилизации, как универсальном явлении, сколько в цивилизациях во множественном числе, как конкретных формах проявления базовых моделей развития человечества. Пальма первенства в таком взгляде принадлежит, по всей вероят-

ности, Н. Данилевскому, опубликовавшему свою теорию еще в прошлом веке.⁴

Однако классическое выражение теория цивилизаций получила в грандиозном труде А. Тойнби, где вся мировая история рассматривается как комплексный процесс взаимодействия отдельных цивилизаций, развивающихся в соответствии со своими специфическими закономерностями. А. Тойнби не мог, конечно, пройти мимо еврейства в своем фундаментальном труде, окрашенном, впрочем, отчетливым влиянием христианского миропонимания. Еврейство для него – специфическая форма исторического развития, которую он характеризует через понятие *penalization*, т.е. своего рода виктимизации. Но первым к еврейству термин „цивилизация“ применил крупнейший теолог неортодоксального иудаизма XX в. Мордехай Каплан, рассматривавший иудаизм как эманацию Божественного начала, разлитого в космосе и побуждающего человека к выполнению его предназначения. Еврейство в его понимании – постоянно развивающаяся религиозная цивилизация. Этноконфессиональный характер еврейства по М. Капалану проистекает из фундаментального принципа религиозного характера еврейской цивилизации. „Религиозная цивилизация не только дает индивидууму чувство идентификации, но и берет ответственность за спасение индивидуума, т.е. за его общение с Богом“. Однако концепция М. Каплана лежит вне сферы научного анализа, она носит сугубо теологический характер. Понятие цивилизации как новый аналитический подход впервые применяется только в работе С. Айзенштадта, так и называющейся „Еврейская цивилизация“. Основная цель автора – доказать, что иудаизм как религия является всего лишь компонентом более широкой цивилизационной общности. Он пишет: „Лучшим способом понять еврейский исторический опыт является взгляд на евреев не просто как на религиозную, этническую группу, нацию или „народ“, пусть даже они в какой-то степени соединяют в себе все эти элементы, а как на носителей „цивилизации“. Но каждый раз, когда С. Айзенштадт, как впрочем и любой другой автор, начинает говорить о „цивилизации“, он должен начать с объяснения, что он имеет в виду. Для него цивилизация – нечто такое, что отличается от религии, хотя и достаточно близко к ней. Она включает „...попытки конструировать или реконструировать общественную жизнь в соответствии с онтологическим видением, которое сочетает концеп-

ции о природе космоса, земной и внеземной реальности с регулированием основных сфер социальной жизни и взаимодействия в области политики, власти, экономики, семейной жизни и тому подобного“.⁵ Дефиниция цивилизации по С. Айзенштадту несомненно интересная, но совершенно неоперациональная. Опираясь на нее, невозможно понять, означает ли цивилизация просто все сущее в общественной жизни, или же представляет собой какую-то форму исторической реальности, которую можно отделить от других похожих на нее форм.

Количество исследований по теории цивилизаций множится год от года и фактически эти исследования на сегодняшний день представляют собой теоретический фундамент исторической и социологической наук. Особенностью подавляющего большинства исследований и концепций является их разработка с точки зрения истории, философии истории и теоретической социологии. Соответственно, в них содержится немало попыток отграничить понятие цивилизации от религии, государства и культуры вообще. Социо-антропологический подход, сравнивающий цивилизации и этнические культуры, вообще рассматривающий место этноса в цивилизации, почти не встречается в литературе. Это объясняется целым рядом причин, среди которых основная, наверное, неразработанность, я бы даже сказал, неприемлемость самого понятия этнической культуры и этноса в западной общественной мысли. На Западе понятие *nation* безусловно не тождественно русскому понятию нации. Западные исследователи тщательно избегали в послевоенное время самого понятия этноса, или синонимичного ему „народа“. Вместо этого был введен термин *ethnicity*, относящийся, скорее, к сфере психологии, нежели социологии.

Между тем именно социо-антропологический подход может оказаться чрезвычайно плодотворным, так как именно он способен определить цивилизацию, как специфическое макрокультурное явление, структурно не совпадающее с конкретными этническими культурами.

Я не отличаюсь от моих предшественников и, вводя понятие цивилизации для анализа еврейства, оказываюсь вынужденным пояснить, что я имею в виду. Мое понимание достаточно близко к тому, которое изложено С. Айзенштадтом. Я пришел к нему после многих попыток на протяжении последних 25 лет объяснить самому себе и моим студентам феномен уникальности еврейства. Воз-

можно я не стал бы формулировать особый теоретический подход, если бы был знаком с книгой С. Айзенштадта раньше. Но она вышла, когда я уже в основных чертах сформулировал свой подход и начал вербализировать его в форме предварительных статей и лекций для студентов и более широкой аудитории.⁶

Под „цивилизацией“ я понимаю **макро-культурную модель, исторически формирующуюся на основе специфического зафиксированного письменной традицией комплекса культурных текстов, определяющую пределы, внутри которых могут варьироваться формы культурного и социального выражения принадлежащих к ней человеческих коллективов.**

Попробую пояснить данную дефиницию. Макро-культурная модель означает собирательный характер цивилизации, как культурного явления. Она обязательно включает в себя множество конкретных культур, как правило имеющих характер этнических. Под „историческим формированием“ следует понимать тот тривиальный факт, что любая цивилизация есть историческое явление, которое в определенном историческом времени возникает и, возможно, когда-то в другом историческом времени исчезает. Понятие культурного текста трактуется мною достаточно широко и включает в себя разнообразные идеологические манифестации, как правило достаточно общего характера. Наиболее распространенным примером культурных текстов являются различные своды священных писаний или иных сакральных сочинений. Но это не обязательно только так. В качестве культурных текстов могут выступать и секуляризированные своды правил или общих принципов понимания мира. В отличие от многих других авторов, я специально подчеркиваю связь между цивилизацией и письменной культурой. Как мне представляется, цивилизация как особая модель, обладающая какими-то специфическими свойствами, не присуща всему периоду человеческой истории. Она возникает как продукт городского уклада, на что обращали внимание многие исследователи, занимавшиеся этой проблемой. Наконец, этимологически сам термин „цивилизация“ связан с городом, с городской, т.е. письменной культурой. Соответственно, я не готов рассматривать такие понятия как „первобытная цивилизация“ „африканская цивилизация“, „цивилизация малых народов Севера“ и т.д. Следует сразу же оговориться здесь, что я абсолютно абстрагируюсь от аксиологического значения термина „цивилизация“, бытующего

на уровне бытового сознания. Сам термин несет в себе особую семантику, для многих людей означая нечто более высокое и более совершенное, чем просто культура и общество. Почти во всех этнических культурах существует тенденция обозначать свою собственную культуру как цивилизацию, в качестве своего рода церемониальной или патриотической оценки своего исторического наследия. Поэтому очень важно разграничивать понимание „цивилизации“ как социо-антропологической концепции от семантики этого слова как элемента разговорной речи. Если придерживаться терминологического значения, то принадлежность к цивилизации нисколько не возвышает данный культурный феномен, как и не принижает его. Она просто вводит его в специфический контекст и определяет самые широкие пределы поведения тех, кто считает себя входящим в данную общность. Тем самым, цивилизация представляется осознаваемой моделью, причастность к которой очевидна и, как правило, не подлежит сомнению.

Примеров цивилизаций, удовлетворяющих данному определению, не так много в мировой истории. Если оставить вне рассмотрения античность и Древний Восток, то хорошими примерами того, что я, вслед за большинством исследователей, понимаю под цивилизацией, могут служить: христианская (возможно, в ее западном и восточном выражении), исламская, индийская и китайская цивилизации. Возможно привлечь к рассмотрению и современную т.н. постиндустриальную цивилизацию. Все они в той или иной мере имеют в основе комплекс культурных текстов, часто, но не всегда, принимающий религиозную форму.

Основные признаки этих текстов узнаются безошибочно и воспринимаются почти как трюизм. Когда, например, мы говорим о „Европе“ в бытовом смысле, т.е. вне специальных академических контекстов, то мы, конечно же, имеем в виду западную христианскую цивилизацию. И, соответственно, в этом значении, восприятие не только Турции, но даже Албании или Боснии, как части Европы, вызывает уже определенную сложность. Для каждого, знакомого с востоком Азии, очевидно, что Вьетнам, Корея и Япония принадлежат в широком смысле к китайской цивилизации, а Камбоджа и Лаос – к индийской. Примеров такого рода можно привести немало. Смысл их в том, что в большинстве случаев принадлежность к цивилизации очевидна или, по крайней мере, легко угадываема.

Этнические культуры могут иногда демонстрировать признаки разных цивилизаций. Например, Индонезия очевидно составляет часть исламской цивилизации, но ее индуистское прошлое, и даже балийское настоящее, сближают ее с индийской цивилизацией, в состав которой она когда-то включалась.

Кроме очевидных культурных знаков цивилизаций можно и нужно выделить ряд структурных особенностей, которые, будучи присущи только цивилизациям, а не этническим культурам, позволяли бы операционно отделять одни явления от других. Полагаю, что эти структурные особенности универсальны для цивилизаций и таковы, что они специфически присущи только цивилизациям. Выделение их производилось чисто эмпирически и не опирается, по крайней мере пока, на какой-то структурный анализ. Вероятнее всего, число их может быть достаточно большим. Я пока выделяю здесь шесть цивилизационных универсалий, существенных для рассматриваемой темы:

1. Длительность существования по сравнению с этническими общностями;

2. Существенное, по сравнению с этническими общностями, влияние на общее развитие человеческой культуры;

3. Наличие метаязыка цивилизации, не являющегося речевым коммуникативным средством;

4. Полиэтничность как форма исторической адаптации;

5. Тенденция к панэтикуменизму, т.е. распространению на все части обитаемой суши;

6. Тенденция к прозелитизму, т.е. стремление к вовлечению в свой круг представителей иной цивилизации, или человеческих коллективов, стоящих вне цивилизаций.

Первые два признака цивилизации, выделенные нами, как нельзя лучше подходят к еврейству. Действительно, нормальные этнические общности менее устойчивы, чем цивилизационные комплексы и существуют в среднем полторы-две тысячи лет, после чего видоизменяются и дают начало новым этническим образованиям. Цивилизации существуют несколько тысяч лет, продолжая сохранять свои специфические признаки, хотя и они, как то подтверждает человеческая история, также преходящи. Если рассматривать еврейство как цивилизацию, то сохранение еврейской

идентификации в течение не менее трех тысячелетий не выглядит аномалией и вполне сопоставимо с примерами того же таксономического уровня.

То же касается и влияния на общее развитие человеческой культуры. В случае с еврейством оно непомерно велико для отдельного небольшого народа, но нормально для цивилизации, которая, в конечном счете, устанавливает наиболее общие варианты эволюции человеческой культуры и общества. Опять же, изменение таксономии позволяет устранить аномальность и в этом случае, и рассматривать евреев не в ряду этнических групп, а в ряду, образованном такими понятиями как „христианство“, „ислам“, „индийская и китайские цивилизации“. Излишне говорить, что под христианством и исламом я понимаю здесь не религиозные доктрины, как таковые, а крупные макро-культурные комплексы, в которые эти доктрины входят как одни из составляющих.

Не вызывает сомнения и наличие в еврействе метаязыка цивилизации. Таким на протяжении почти двух тысяч лет служил древнееврейский язык, обслуживавший все потребности еврейской цивилизации, кроме речевой коммуникации. Для последнего существовало множество т.н. „еврейских языков“ (идиш, ладино, еврейско-арабский, луазит и др.) или языки окружающих евреев народов. Древнееврейский язык назывался разными обозначениями, среди которых наиболее частое *лашон-акодеш*, т.е. „язык Святости“, типичное именно для метаязыка. Весьма показательно, что с момента превращения древнееврейского в нормальное этническое средство речевой коммуникации, изменилось его название, так что сегодня его все знают под его новым именем, не употреблявшимся прежде – *иврит*. Аналогичные древнееврейскому метаязыки мы встречаем во всех цивилизациях – средневековая латынь, классический арабский, санскрит, взънянь и даже современный Basic English, на котором общается между собой стремительно возрастающая часть человечества, но никто не говорит на нем, как на родном.

Панэйкуменизм в высокой степени свойственен еврейству и проявлялся постоянно, начиная с возникновения еврейской диаспоры в середине 1 тыс. до н.э. Это настолько хрестоматийный признак еврейского народа, что любое доказательство его наличия следует признать излишним. Достаточно вспомнить образ „вечного жида“ или обратиться к виктимному содержанию еврейского

голуса, как вечной цепи изгнания и позора. Конечно же, панэйкуменизм не является чем-то трансцендентным, а подчиняется вполне рациональным закономерностям и развивается по вполне определенным законам. Но он – признак именно цивилизации, а не народа. Обратим внимание, например, на безусловную территориальную замкнутость и даже изолированность древнееврейского этноса до Вавилонского изгнания в середине 1 тыс. до н.э. Применительно к этому периоду не приходится говорить не только о панэйкуменизме, но даже и о каких-то мало-мальски заметных миграциях или территориальных экспансиях. Мы знаем, тем не менее, случаи заметных территориальных экспансий у других народов. В этих случаях они, как правило, либо сохраняют территориальную целостность, как, например, русский народ в своей экспансии на Восток, либо распадаются на новые этнические образования, как это произошло с англичанами, колонизовавшими северную Америку, Южную Африку, Австралию и Новую Зеландию. Экспансия цивилизации, напротив, не обязательно приводит к дроблению и изменению этнической структуры, что связано с наличием ряда адаптационных механизмов.

Один из них – прозелитизм, вернее, тенденция к нему. Этот яркий признак цивилизации в еврействе выражен слабо. Более того, существует широко распространенное, хотя и не вполне верное представление об иудаизме как принципиально непрозелитической религии. Как известно, сегодняшняя галахическая норма предписывает раввину отговаривать потенциального прозелита от перехода в иудаизм и всячески осложнять ему процедуру. Тем не менее, процедура обращения в иудаизм существует, и на протяжении тысячелетий существования еврейской цивилизации она, безусловно, менялась. Не вдаваясь в рамки настоящего предварительного наброска в доказательство еврейского прозелитизма, сошлемся лишь на массовый прозелитизм эпохи античности (включая Эдом и Адиабену), на групповой прозелитизм в средневековье (Химьяр, Хазария, берберы Магриба и др.), на достаточно распространенный индивидуальный прозелитизм в средневековой Европе и исламском мире, наконец, на сегодняшние прозелитические тенденции реформистского иудаизма в США или своеобразный внутриеврейский прозелитизм последователей любавичского хасидизма. Все это указывает на то, что прозелитизм присущ еврейству, безусловно, в большей степени, чем обычной этнической

общности, которая редко осознанно, намеренно и добровольно ассимилирует в своей среде инородцев.

Наконец, последний отмеченный нами признак цивилизации, – ее полиэтничность, в его применении к еврейству первоначально вызывает не меньшее сомнение, чем прозелитизм. Центральным объектом рассмотрения здесь должна стать общность внутри еврейства, единица внутреннего этнического подразделения еврейской цивилизации, которую называют либо субэтнической, либо этнолингвистической группой. На современном иврите она зовется *эда* (мн. число *эдом*). Эта единица редко становится предметом специальных исследований, почти полностью игнорируется в обширном письменном еврейском наследии, включая еврейскую философию или даже труды о сущности еврейства. Тем не менее, *эдом* играют важную роль в реальной жизни еврейства и до определенной степени подрывают общепринятый тезис о единстве еврейского народа.

Еврейская традиция обычно рассматривает *эдом* в пейоративных терминах, ассоциирует их с бытовым, а потому несущественным аспектом жизни народа, не связанным напрямую с его миссией. На самом деле именно *эдом* занимают внутри еврейства место народов внутри других цивилизаций. С ними они сближаются по таким признакам, как общий язык, территория, бытовая культура, воспринимаемая, правда, пейоративно и выражающая себя через бытовую обрядность *минхагим*, существующую сравнительно недолгий срок в пределах полутора тысяч лет. В одних случаях, как, например, с восточноевропейскими ашкеназами в XIX – начале XX вв., этническая форма идентификации проявляется настолько сильно, что дает начало мощным центростремительным для еврейства в целом тенденциям. В других же, субэтническое самосознание подавляется намного превосходящим самосознанием принадлежности к цивилизации, принимающему форму религиозной идентификации.

Надо сказать, что подобные случаи встречаются и в других цивилизациях. Так например, широко распространено осознание себя „мусульманами“ коренных жителей Средней Азии, Кавказа, переднего Востока, особенно в ситуации, когда они противопоставлены русским или иным европейским народам. Можно вспомнить религиозную этимологию русского слова „крестьянин“, указывающего на принадлежность к христианству основной массы простого народа.

Но для христианского, исламского и индийского миров полиэтничность все же естественна, принята и непротиворечива. Иное дело еврейство, которое решительно настаивает на своем единстве, причем, чаще всего, на единстве как народа. Это дает нам возможность рассматривать еврейскую цивилизацию как квазиэтническую, т.е. цивилизацию, изначально обладающую хотя бы потенциальной этнической идентификацией. По этому признаку еврейство сближается с китайской цивилизацией, также квазиэтнической, так как, на самом деле, китайцы подразделяются на целый ряд общностей, которые объективно могли бы рассматриваться как отдельные этносы, но категоризируются китайцами как внутриэтнические подразделения.

Приведенные краткие рассуждения, как нам представляется, оправдывают правомерность применения парадигмы цивилизации к еврейству. Эта парадигма снимает аномальность еврейства как исторического феномена и объясняет целый ряд его специфических черт. Уместно поставить, однако, вопрос: если цивилизация, согласно схеме автора, противопоставлена этносу, то почему еврейская ее разновидность в современности ведет себя, скорее, как этническая общность?

Цивилизация всегда исторична, т.е. она возникает в определенное время и в определенное время исчезает, трансформируясь в новое качество. Исторические обстоятельства возникновения еврейской цивилизации, конечно же, не тождественны этногенезу древнееврейского народа. Она начинается с того времени, когда внутри еврейского этноса появляются признаки цивилизации. Первый из них – полиэтничность, зарождающаяся где-то во второй половине I тыс. до н.э. с формированием вавилонской арамейскоязычной и александрийской грекоязычной еврейской диаспоры. Вторым моментом является вытеснение древнееврейского языка из речевой коммуникационной функции и превращение его в метаязык цивилизации, произошедшее в первые века новой эры. Третий важный элемент – канонизация письменной и устной Торы, основных культурных текстов еврейской цивилизации, занявшая период с V в. до н.э. до V в. н.э.

Только после этого, после полного ухода евреев в диаспору, можно говорить о том, что формирование еврейской цивилизации на базе древнееврейского этноса завершилось. На протяжении всего периода существования еврейской цивилизации еврейство

состояло из конечного набора этносов, в каждую историческую эпоху разных. Именно внутри них проходили сложными этнические процессы, слабо исследованные по сию пору. Еврейская цивилизация своеобразным образом адаптировалась к сосуществованию с другими себе подобными цивилизациями. Одной из главных ее особенностей становится ее дискретный и диаспорный характер, включенность в качестве отдельных небольших фрагментов почти во все т.н. аксиальные цивилизации. Скорее всего, квази-этничность была одним из механизмов этого приспособления. Другой особенностью еврейства может быть повышенная виктимность, т.е. заложенное на уровень культурного текста восприятие себя постоянной жертвой. Многие говорят за возможность такой интерпретации ряда примечательных особенностей еврейской культуры и поведения. Примечательно, что именно виктимность становится одной из первых особенностей, от которой стремятся избавиться израильтяне, развивающиеся уже не как цивилизация, а как этническая культура.

Каждая цивилизация на протяжении своего существования сталкивается с кризисными периодами, с угрозой, иногда оказывающейся фатальной. В кризисной ситуации цивилизации, как народы и государства, ведут себя по-разному. История была свидетелем гибели цивилизаций, их преобразования, слияния и т.п. Часто кризисы, вызванные столкновением с другими цивилизациями, как например, в наши дни, когда постиндустриальная цивилизация стремительно надвигается на все области планеты, вызывают особые защитные формы цивилизационного поведения. Именно как стрессовую реакцию цивилизации можно было рассмотреть такое явление, как современный фундаментализм, часто, хотя не всегда сопровождающийся террористической активностью. В той или иной форме он свойствен всем аксиальным цивилизациям, над существованием которых нависла угроза – христианской, исламской, индийской и китайской. Но для еврейства кризис наступил раньше, с расцветом гаскалы, т.е. около 200 лет назад.

Так называемая еврейская эмансипация разделила некогда кумулятивную этноконфессиональную идентификацию цивилизации на вариативность в рамках шкалы „этнос – конфессия“. Последние два века, наиболее яркие и примечательные в еврейской истории, как по трагичности судеб, так и по поразительному напря-

жению творческих, духовных сил, видимо, определяют линию кризисного поведения еврейской цивилизации, выросшей некогда из этнического состояния.

Ее квази-этнический характер позволяет ей в этих условиях сформулировать концепцию, возвращающую еврейство из цивилизационного состояния снова в этническое. Концепция эта носит название сионизма и представляет самое мощное политическое течение внутри еврейства в XX в. Суть ее сводится фактически к замене еврейской диаспорной цивилизации на новое этническое образование, израильский народ, который становится наследником, но не продолжателем еврейской цивилизации. В Израиле нет всех основных компонентов цивилизации. Метаязык цивилизации, *лашон-акодеиш* превращается в Израиле снова в средство вербальной коммуникации и становится *ивритом*. Еврейская полиэтничность постепенно исчезает в израильском плавильном котле. Пусть она еще существует и придает своеобразие сегодняшнему облику израильского еврейства. Важно то, что идеология, на которой построено еврейское государство, направлена на устранение этой внутриеврейской полиэтничности. О панэйкуменизме по отношению к Израилю не приходится говорить. Прозелитизм превращается в наши дни в один из самых мучительных вопросов израильской общественной жизни. Израильтяне, как новый этнос противятся включению в него инородных нееврейских компонентов. Понятно, что конечной целью сионизма является превращение еврейской цивилизации (в том смысле, как мы пытались ее представить в настоящей заметке) в израильский этнос. Ход истории еврейства как будто пока подтверждает жизненность этой стратегии. Насколько это так будет и дальше – покажет будущее. Что касается собственно еврейской цивилизации, то она существует в какой-то форме до тех пор, пока жива еврейская диаспора. В последние 200 лет она сильно изменилась. Изменился ее культурный и лингвистический облик. Исчезла традиционная идентификация, основанная на талмудическом восприятии мира. Вместе с ней исчезают и еврейские языки, идиш, ладино, многие другие, которые составляли отличительную особенность еврейства на протяжении двух тысяч лет его существования как цивилизации. Сегодня евреи переходят на язык тех стран, где они живут. Но по-прежнему сохраняются некоторые из выделенных в этой статье диагностических признаков, такие, например, как панэйкуменизм,

прозелитизм. По-прежнему иврит в диаспоре выполняет функции метаязыка цивилизации.

Представляется, что применение цивилизационной парадигмы позволяет не только вывести еврейство из разряда уникальных исторических явлений, но и лучше понять его специфику. Еврейская история может быть представлена в виде следующей схемы. I тыс. до н.э. – формирование и развитие древнееврейского этноса, возникновение в нем тех элементов культуры, которые позже превращаются в культурные тексты еврейской цивилизации. Само формирование цивилизации занимает долгий период около тысячи лет и завершается в середине I тыс. н.э. полным выходом еврейства в диаспору. К этому же времени завершается и формирование раввинского иудаизма, как специфической именно для еврейской цивилизации формы религии.

Распад цивилизации начинается в начале XIX в. и продолжается по сию пору. XX в. отмечен восстановлением или формированием новой еврейской этничности в Израиле и трансформацией еврейской цивилизации, продолжающей существовать в диаспоре в противоречивом симбиозе с израильтянами.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Эренбург И. По поводу одного письма. // Правда, 21 сентября 1948 г.

² Членов М. Евреи // Народы Мира. М., Советская Энциклопедия, 1988, С. 159.

³ Херцберг А. Сионизм в контексте истории. // Иерусалим, библиотека „Алия“, 1992, т. 1, С. 28.

⁴ Данилевский Н.Я. Россия и Европа: Взгляд на культурные и политические отношения Славянского мира к Германско-Романскому. // Спб., 1995, С. 59-61.

⁵ Eisenstadt S.N. Jewish Civilization. The Jewish Historical Experience in a Comparative Perspective. Albany, State University of New York Press, 1992, P. 1.

⁶ Некоторые мысли по теме еврейской цивилизации и близким сюжетам были в предварительном порядке изложены мною в следующих работах: Chlenov M. Jewish Civilization: A Socio-Anthropological Reexamination // Jewish Studies in a New Europe, ed. by Ulf Haxen, Proceedings of the Fifth Congress

of Jewish Studies in Copenhagen 1994 under the auspices of the European Association for Jewish Studies. Copenhagen, C.a. Reitzel International Publishers, Det Rongelige Bibliotek, 1998, pp. 128-141; Chlenov M. Jewish Community and Identity in the Former Soviet Union // Shlomo Avineri, Michael Chlenov, Zvi Gitelman. Jews of the Former Soviet Union. Yesterday, Today and Tomorrow (The International Perspective Series no. 37); New York, The American Jewish Committee, 1996, pp. 11-16; Членов М. Этноконфессиональный характер еврейства // Религиозный диалог. Лицом к лицу, под ред. Р. Файнберга, М., ТОО „Гендальф“, 1995, С. 15-22; Chlenov M. Jewish Communities and Jewish Identities in the Former Soviet Union // Jewish Identities in New Europe, ed. by J. Webber. London-Washington, Littman Library of Jewish Civilization, 1994, pp. 127-138; Chlenov M. “Civic” vs. “Ethnic” – Two Approaches to Nationalism on Post-Soviet Eastern Europe // Rescue-43. Xenophobia and Exile. Copenhagen. Munksgaard, pp. 117-125, 1993.

**В последнее время журнал поддержали
пожертвованиями следующие лица:**

Костяковский А. (Кирьят-Ям) – 30 шек.,
Лотан Анна (Тель-Авив) – 100 шек.,
проф. Любич Ю. (Хайфа) – 60 шек.,
д-р Мальчик (Иерусалим) – 60 шек.,
Менджерикский Э. (Иерусалим) – 50 шек.,

*Редколлегия выражает глубокую благодарность
преданным друзьям журнала.*

СООТЕЧЕСТВЕННИКИ В ГЕРМАНИИ

Иосиф Погорельский

ДОРОГИ, КОТОРЫЕ НАС ВЫБИРАЮТ

- Монсьюр, - проговорил хозяин таверны, кланяясь до земли, - е-если бы я з-знал, что б-бу-ду удостоен такой чести, все б-было бы готово к вашему приезду. О-смелюсь п-предложить вина и х-холодную дичь, а если п-пожелаете...

- Свечей! - сказал маркиз, характерным жестом растопырив пальцы пухлой холеной руки.

О. Генри „Дороги судьбы“

1

У О. Генри есть два рассказа с похожими названиями: „Дороги судьбы“ и „Дороги, которые мы выбираем“. В первом из них деревенский пастух Давид, поссорившись со своей невестой, уходит ночью в „большой мир“ искать признания и славы поэта. Отойдя на три лье от своей деревушки Вернуа, он оказывается на широкой дороге, и поворачивает по ней направо, налево, возвращается назад. Рассказ делится на три русла; на три возможности того, что О. Генри называет судьбой. Повернув налево, Давид встречается с неким маркизом до Бопертюи и его племянницей, которую маркиз пообещал отдать замуж за первого встречного. Первым встречным оказывается Давид; полусонный городской священник проводит поспешное бракосочетание; в качестве прощального слова маркиз объясняет Давиду, что прекрасная внешность его ново-

приобретенной жены сочетается в ней с виртуозным владением искусством лжи и лицемерия. Судя по предшествующим словам племянницы маркиза, это вполне похоже на правду. Но вдруг „жалобный крик сорвался с губ девушки“; Давид бросается защищать ее честь и вызывает маркиза на дуэль. Впрочем, исход поединка между аристократом и мечтательным пастухом, который не умеет пользоваться оружием, заранее предрешен. С легкостью застрелив Давида из своего дуэльного пистолета, маркиз уезжает искать нового первого встречного для своей племянницы.

Повернув направо, Давид оказывается в Париже. Поселившись в парижских трущобах, он знакомится с таинственной женщиной из мира элегантности и богатства, случайно оказавшейся на лестнице его дома. Незнакомка становится музой его стихов. На самом деле появление незнакомки неслучайно; в доме, где живет Давид, собираются заговорщики, целью которых является убийство короля. Во главе заговора стоит некий маркиз де Бопертюи. Во время одного из собраний капитан Дероль, самый решительный из заговорщиков, клянется немедленно убить короля; но так как у него нет с собой оружия, де Бопертюи дает ему свой пистолет. Таинственная незнакомка Давида берется сообщить о готовящемся покушении заговорщикам из числа дворцовой стражи. С письмом к ним она отправляет Давида, предварительно рассказав ему длинную историю об умирающей матери и дяде, которого надо срочно позвать к ее смертному одру. Давид приходит во дворец, однако заговор обнаруживают, и Давида арестовывают. После допроса его переодевают королем и отправляют в карете к месту предполагаемого покушения. В стычке с заговорщиками капитан Дероль убивает Давида из пистолета маркиза де Бопертюи.

Дойдя до большой дороги, Давид поворачивает назад. Он мирится со своей невестой, женится на ней, получает огромное по деревенским представлениям наследство. Флер юности, облагораживающий его жену, исчезает, и она превращается в „пригожую и ловкую хозяйку“, с утра до ночи драющую ведра и медные котлы. И ведра, и котлы в доме Давида блестят, как ни у кого в деревне. Но с наступлением весны дом и овцы перестают его интересовать, и он снова начинает писать стихи. Хозяйство приходит в упадок; цвет лица и характер жены портятся, речь грубеет. Увидев, сколь тлетворно влияет увлечение литературой на жизнь Давида, местный нотариус посылает его к своему другу, знатоку

литературы. Прочитав стихи, принесенные Давидом, друг нотариуса выносит однозначный, и неутешительный, приговор. Вернувшись домой, Давид покупает у старьевщика пистолет, приобретенный последним на распродаже имущества некоего вельможи, сосланного за участие в заговоре против короля. Когда нотариус приходит к телу самоубийцы, он обнаруживает, что Давид застрелился из пистолета с фамильным гербом маркиза де Бопертюи.

В отличие от многословных „Дорог судьбы“, „Дороги, которые мы выбираем“ содержат всего четыре страницы. Три бандита грабят поезд на американском Диком Западе. Один из них, индеец-метис гибнет во время ограбления, два других, связанных многолетней дружбой, захватывают большую добычу. На обратном пути лошадь одного из них ломает ногу. Второй, по кличке Акула Додсон, убивает своего товарища, поскольку считает, что его лошадь не унесет двоих. Впрочем, речь идет не только о лошади, но и о дележе денег. Через несколько секунд Додсон, глава маклерской конторы на Уолл-стрит, просыпается в своем офисе; рукоятка револьвера в руке оказывается ручкой кресла. Из короткого диалога, которым заканчивается рассказ, становится ясно, что Додсону представилась возможность нажать за счет полного банкротства своего старого друга. Он пользуется ею без колебаний.

На первый взгляд, это рассказ о сне и пробуждении; на второй - о том, что уголовщина является наилучшей метафорой для жизни биржевых воротил. Однако, перед тем как убить своего друга, Акула Додсон рассказывает ему о том, как он попал на Дикий Запад. В семнадцать лет он убежал из дома и отправился в Нью-Йорк в надежде разбогатеть. На одном из перекрестков он оказался перед выбором, свернуть ли ему на восток или на запад; и повернул на запад. Так он стал бандитом. „Я часто думаю“, - говорит Акула Додсон, - „что было бы со мной, если бы я выбрал другую дорогу“. К концу рассказа ответ на этот вопрос становится ясен. Он бы пришел в Нью-Йорк и стал бы главой маклерской конторы „Додсон и Деккер“ на Уолл-Стрит. Иными словами, речь идет не о сне и реальности, не о метафоре и ею обозначаемом, а о двух возможностях реальности с единым началом и единым концом. Какую бы из дорог Додсон не выбрал, он станет богатым, его будет терзать алчность, и он предаст, и продаст своего друга. Так же как, какую бы из дорог не выбрал пастух Давид, он станет жертвой своей нелепой любви и будет застрелен из дуэльного

пистолета маркиза де Бопертюи. Это дороги, которые мы выбираем, но не так как мы выбираем дорогу на развилке, около камня, где шумит осенняя жухлая трава, где видны следы колес телеги, а так, как если бы эти дороги выбирали нас.

Но рассказы О. Генри не только об этом. Не только о дорогах, которые нас выбирают, но и о различии. О различии, которое мы приносим, привносим в бытие; о различии между нами и тяжелой кровавой пульсацией бытия. О том, что есть разница между эгоистичной девицей, ищущей мести своему врагу чужими руками, лицемерной аристократкой, утоляющей скуку мечтами об убийстве своего короля, и деревенской хозяйкой с начищенными котлами и ведрами, пытающейся спасти свое хозяйство от разорения. О том, что есть разница между глупой смертью на дуэли, бессмысленной гибелью в качестве подставной жертвы и нелепым самоубийством. И даже о том, что есть разница между грабежом поездов и торговлей акциями, между убийством и разорением; но одновременно и о том, что есть разница между риском налетчика и махинациями биржевого спекулянта. И что, пожалуй, самое главное, это рассказы о том, что любая из дорог выглядит иначе в свете остальных возможных, что осознание иных возможностей бытия, своего бытия, меняет и тот его путь, который есть „на самом деле“, что бытие человека неотделимо от иных возможностей его воплощения. Так же думал и Шекспир. „Они говорят, что сова была дочерью мельника. Господи, мы знаем, кто мы есть, но мы не знаем, кем мы могли бы быть“.

2

Эмиграция в Германию была для многих из нас такой „иной“ возможностью бытия. И одновременно не была; я не могу представить себе обстоятельства, которые бы заставили меня сделать подобный выбор. Но именно крайность этого выбора, сочетание несомненной экзистенциальной возможности с предельным внутренним сопротивлением, и делают эмиграцию в Германию гораздо более интересным, гораздо более отталкивающим, предметом для размышлений, чем эмиграция в Америку („Америку, Америку...“). Письма американских эмигрантов с их путаными рассказами про западное благополучие, с неизменными фотографиями у чужих (или своих, что, впрочем, то же самое) машин и вилл,

вызывали в Союзе восхищение, зависть; и именно для этого они и писались. Только доносы и стенгазеты были отвратительнее этого жанра; и мало что было скучнее.

Для эмигрантов 70-х-80-х Америка была нейтральным выбором; простым, понятным и внутренне убедительным, выбором покоя и благополучия. Для эмигрантов 90-х Германия была тем же: почти-Америкой. Но, помимо этого, она была выбором от противного: от России с ее нищетой и надвигающимся политическим хаосом, и от Израиля с его войнами, армией и безработицей. На вопрос о причинах эмиграции в Германию 62 опрошенных указали на высокий жизненный уровень и 61 на слухи о том, что „нашим эмигрантам в Германии живется хорошо“ (см. примечание). Как таковая, Германия почти никого не интересовала. Только 3 опрошенных ответили, что издавна интересовались немецкой культурой, и 2 сообщили, что хорошо знают немецкий язык. Подозреваю, что если бы подобный опрос был проведен среди репатриантов в Израиле, то число интересовавшихся немецкой культурой и знающих немецкий было бы выше. И это естественно, поскольку эмиграция в Германию означала отрицание всякой исторической преемственности. Это был акт отказа от прошлого, утверждение своей непричастности, отсутствия какой бы то ни было личной связи с еврейской или русской историей. Десятки миллионов убитых становились фактом прошлого; выбор Германии являлся утверждением, что к настоящему они отношения не имеют. А само настоящее было вполне привлекательным. От еврейских эмигрантов можно часто услышать, что в современной Германии антисемитизма нет; и если исключить восточных немцев и немцев из бывшего СССР, то это почти правда. Иными словами, евреев в Германии никто не выделяет по национальному признаку. На фоне Израиля с его периодическими всплесками ксенофобии и ненависти к эмигрантам в самых разных слоях общества, это не так уж плохо.

В смысле денег все обстоит еще лучше. Первое слово, которое узнают эмигранты, это „социал“, социальное пособие на жизнь, большое, ничем не обусловленное, пожизненное. Типичная семья из двух родителей и двух детей получает в месяц 2000 марок на питание, 1000 марок на аренду квартиры, бесплатное медицинское страхование, периодические одноразовые выплаты на покупку одежды и предметов первой необходимости, рождественские подарки. В сумме, это сопоставимо с зарплатой средней семьи репат-

риантов в Израиле, в которой оба супруга работают на полную ставку - и получают далеко не минимум. Плюс - возможность нелегально подрабатывать. Плюс - немецко-российский бизнес, в котором эмигранты выступают посредниками. Субсидированное муниципальное жилье в лучших городах Германии, включая Берлин, тоже не является редкостью. По статистике, после двух лет в стране 46% эмигрантов в Германии имеют постоянное жилье, в сравнении с 15% в Израиле. Наконец, „пожизненный социал“ не требует обременять себя непосильным изучением языка. После тех же двух лет в стране, только 14% эмигрантов в Германии владеют немецким (из них 2% знали немецкий раньше) в сравнении с 46% репатриантов, свободно владеющих ивритом.

Наконец, эмиграция в Германию не предполагает разрыва связей со странами СНГ. 88% эмигрантов выехали в Германию по гостевым приглашениям, еще 4% по служебным визам. Они не переживали „шока отъезда“: ожиданий, сборов, прощания с домом и друзьями, распродажу вещей. У двух третей из них остались квартиры, в которые они могут в любой момент вернуться, - как они сами говорит, „квартиры с невыключенными холодильниками“. В силу географической близости эмигранты в Германии поддерживают тесные контакты со странами СНГ: не только переписываются и перезваниваются, но и постоянно ездят. Более того, среди эмигрантов крайне распространено явление расколотых семей, почти отсутствующее в Израиле: жена с детьми в Германии, под защитой немецкой полиции и пожизненного социала, и муж, занимающийся „бизнесом“ в СНГ. Наконец, курьезом (хотя и курьезом вполне закономерным) является существование эмигрантской школы в Берлине, обучение в которой проводится по программам Российской Федерации. Надо ли говорить, что экономическая защищенность в сочетании с хорошей осведомленностью о реальном положении на оставленной Родине, является наилучшим лекарством от ностальгии. Среди опрошенных репатриантов в Израиле 77% испытывают ностальгию, среди эмигрантов в Германии только 17%.

Тем не менее, отсутствие ностальгии совсем не означает счастья и радости. Совсем наоборот. И нам, и оставшимся в России, известно, что самые безнадежные, самые мрачные письма приходят из Германии. Этот факт требует объяснения; и, как мне кажется, короткое „зажрались“, которым жители России обычно отвеча-

ют на непрекращающееся эпистолярное нытье эмигрантов из Германии, не исчерпывает проблемы; и даже не отражает ее сути. На мой взгляд, есть две вещи, которые необходимы для жизни не меньше, чем пожизненный социал – это земля под ногами и небо над головой. Необходимы даже тем, кто абсолютно уверен, что кому-кому, а им все это совершенно ни к чему, поскольку из комсомольского возраста они уже давно выросли. Необходимы очень многим, за исключением совсем уж особенных исключений. И это то, что в Израиле есть, несмотря на бедность и вспышки ксенофобии. Чувство сопричастности этой земле и ее небу; чувство общей опасности и общей судьбы. И это то, что в Германии отсутствует; Германия наглухо закрыта перед своими новыми жителями. Немцы старательно избегают всего, что можно было бы счесть антисемитизмом, и столь же старательно избегают какого-либо интереса в отношении эмигрантов. Равнодушие, пустые взгляды. 78% эмигрантов испытывают в Германии „комплекс иностранца“; и только у 4% есть немецкие друзья. Больше 60% взрослых людей почти не говорят по-немецки; почти все равнодушны к Германии, как к стране; более 40% опрошенных не связывают с Германией своего будущего. Это люди, которые уже много лет живут на вокзале, или, в лучшем случае, в гостинице.

Впрочем, это гостиница, из которой некуда переехать, и вокзал, с которого поезда никуда не уходят. Первая эмиграция в Германии верила, что если не сейчас, то потом, то когда-нибудь, она сможет вернуться в Россию. И люди, составлявшие ядро эмиграции той волны, видели свою цель в сохранении того, что уже больше не существует. Эмигранты первой волны написали тысячи книг: хороших и плохих, гениальных и бездарных, научных, философских, художественных. Те эмигранты третьей волны, которые обосновались в Германии, тоже представляли ради чего они живут и почему они здесь, а не где-нибудь в другом месте. С последней, четвертой, волной все много сложнее; и не случайно отношения между эмигрантами 90-х и эмигрантами 70-х сложились более чем натянутые. В большинстве случаев, речь идет о вполне советских людях, бежавших от кризиса власти и экономической неустроенности; бежавших, как уже было сказано, в страну „с высоким уровнем жизни“. Как пелось в стройотрядовском переложении одной старой туристской песни, „а мы едем за деньгами, за деньгами – за туманом едут только дураки“. И если для эмиграции 70-х были

характерны крайности политизации, эксцессы любви и ненависти к России, то теперь речь идет о людях, вполне равнодушных к какой бы то ни было земле. Россия вполне сознательно оставлена позади; а Израиль даже становится (впрочем, часто бессознательно) объектом внутренней агрессии. Еврею, выбравшему в качестве своей страны Германию после Освенцима, важно разорвать все внутренние связи с еврейским народом, и неприятие Израиля становится удобным символом такого разрыва. Но частью Германии эти эмигранты тоже не становятся – в силу многих причин, часть из которых была уже названа выше.

Дополнительной причиной отчуждения от немецкого общества является ситуация на рынке работы. Ее (работы) нет. И скорее всего никогда не будет. Эмигранты последней волны имеют социальные гарантии, но не имеют гражданства; а это означает, что на них распространяется закон, согласно которому иностранец может получить работу только если от нее уже отказались три человека с немецким гражданством. В условиях тотальной безработицы это почти невероятно. А если такая работа и появляется, то зарплата на ней немногим отличается от пресловутого пожизненного социала; если вообще отличается. Наконец, существуют виды деятельности (адвокат, дантист) заниматься которыми лицам без гражданства и вообще запрещено. И поэтому 85% эмигрантов „сидят на социале“, понемногу подрабатывая на черных работах; а 72% и вообще не верят в возможность когда-либо устроиться в немецкую фирму. Более того, в Германии, в отличие от Израиля, количество безработных эмигрантов с годами не уменьшается. те немногие сферы, которые открыты перед эмигрантами из СНГ, связаны в первую очередь с совместными Германо-Российскими сделками или полукриминальным русским бизнесом за границей. Пресловутая распродажа имущества ЗГВ обогатила многих эмигрантов, которые выступали в ней в качестве посредников. Другая похожая область – это перегон немецких подержанных (или краденых) машин в страны СНГ. Те, кого эти области не устраивают, чаще всего обречены на социал.

Еще одна истина, которую эмигрантам в Германии пришлось усвоить, заключается в том, что и деньги, и благосостояние вещь относительная. То, что достаточно для жизни – недостаточно для удовлетворения амбиций; то, что много в России – мало в Германии. Столкнувшись с „обществом изобилия“, эмигранты посте-

ленно приобретают „высокие жизненные потребности“, которые при отсутствии работы они, разумеется, не могут удовлетворить. И это удар особенно болезненный, поскольку, судя по опросам, приведенным выше, именно за этим они и едут в Германию. После эйфории, связанной с возможностью „столько всего попробовать“ и купить многое из того, что было недоступно в СССР и даже в СНГ, наступает отсроченная депрессия. Социальная квартира начинает казаться унижительной и убогой в сравнении с немецкими виллами; а подержанный фольксваген превращается в символ обойденности той большой и светлой судьбой, которую приносят с собой БМВ и Мерседесы, не говоря уже о Порше ручной сборки. Огни витрин, „огни большого города“ превращаются в источник непрерывной боли и унижения. Сочетание профессиональной ненужности и неудовлетворенных желаний приводит, несмотря на жизнь в обществе всеобщего благоденствия, к отчаянию, депрессиям, постоянной подавленности, к самоубийствам. Согласно данным психолога Нелли Фрейнкман (см. прим.), после 4-5 лет пребывания в Германии около 60% наших бывших соотечественников „находятся в состоянии хронической неудовлетворенности (фрустрации) из-за невозможности реализовать свои высокие жизненные потребности“.

Помимо этого, нет ничего удивительного в том, что безработица, хроническое безделье, неудовлетворенные амбиции и отчуждение от окружающего мира обостряют все скрытые проблемы и открывают затянувшиеся раны. И, в первую очередь, проблемы семейные. Первыми распадаются, разумеется, фиктивные браки - или те браки, которые одна из сторон воспринимала как фиктивные, как возможность проникнуть в сытые немецкие земли. И если распад откровенно фиктивных браков обычно не связан с тяжелыми потрясениями, подобные потрясения часто ожидают тех, кто и не подозревал, что является всего лишь средством передвижения. Также быстро распадаются семьи с застарелыми проблемами - семьи, которые существовали только благодаря наличию общих квартир, машин, гаражей, круга знакомых. При их отсутствии семейные конфликты переходят из хронических в острые; и такие семьи распадаются. Еще одной из характерных причин разводов является потеря мужьями некогда бывшего социального статуса, и вместе с ним самоуважения, - потеря, чаще всего, навсегда. Мужья, потерявшие уважение к себе, срываются на окружаю-

щих - и, в первую очередь, на своих женах и детях; женщины, потерявшие уважение к мужьям и веру в их профессиональное будущее, начинают мысленно выстраивать себе иную судьбу; при первых же знаках внимания со стороны более обеспеченных людей (и, в особенности, немцев) такие семьи неизбежно распадаются.

Еще хуже обстоят отношения между поколениями. Как известно, большинство детей стремится слиться с окружающей средой; и это желание тем сильнее, чем более одинокими чувствуют себя подростки. И в этом смысле стремление слиться с окружающим миром у подростков Берлина должно быть много сильнее, чем у их сверстников из Ашдода или Неве-Яакова - поскольку еще неизвестно, кто в Ашдоде является меньшинством, а кто окружающей средой. С другой стороны, как уже было сказано, среднее и старшее поколение в Германии и вообще не настроено на сближение с немцами. И в культурном, и в социальном смысле пути поколений расходятся. Помимо этого, родители, вечно сидящие дома на „социале“, с трудом говорящие на исковерканном немецком, обычно не вызывают у своих детей особого уважения. И, наконец, в семьях, главной целью своей жизни ставящих материальное благополучие, обычно вырастают дети тоже к деньгам и социальному статусу далеко не равнодушные. Однако, парадоксальным образом, именно их, деньги и социальное положение, родители-эмигранты своим детям обеспечить и не могут - поскольку дети сравнивают свою жизнь уже не с советским прошлым, а с немецким настоящим. Что же касается результатов конфликтов родителей и детей - то исход может быть двояким. В тех редких случаях, когда немецкая среда принимает подростков-эмигрантов, дети, отдаляясь от родителей, уходят в чужой немецкий мир. В большинстве же случаев все заканчивается круглосуточным сидением у телевизора и подростковыми депрессиями.

Еще одной проблемой, которая обостряется в эмиграции, является вечная российская проблема алкоголизма. Дешевизна круглосуточно доступного алкоголя в сочетании с перманентным бездельем (не обремененным ни работой, ни изучением языка) и однообразием ощущений создают идеальные условия для продолжительных запоев. Стремление хоть ненадолго избавиться от душевных проблем, неудовлетворенных амбиций и чувства ненужности ведут в том же направлении. За запоями следуют дебоши, белая горячка. Алкогольная интоксикация, попытки самоубийства,

избиение жен и детей, порча нажитого имущества и, что много хуже, попытки покушения на священную частную немецкую собственность. За последними следуют приводы в полицию, суды, штрафы, депортация неплатежеспособных дебоширов. Социальные работники при первой необходимости начинают судебные процессы с требованием передать детей из неблагополучных семей в другие руки. Наконец, следует сказать, что отсутствие острых приступов осознанной ностальгии у большинства эмигрантов не означает ее отсутствия. Ностальгия – это не только желание вернуться назад, в „Россию, которую мы потеряли“, о котором столь часто писали эмигранты первой волны. Ностальгия – это и медленно тлеющая, часто бессознательная неудовлетворенность чувственной памяти. Каждый год прожитой жизни оставляет в памяти осадок чувств, запахов, вкусов, ощущений, привычка к которым заставляет нас называть их своими. Их исчезновение всегда дает о себе знать – не обязательно сразу, но неизбежно. Они оставляют после себя вакуум; и чем более чужой является окружающая страна, тем медленнее заполняется этот вакуум. Его ощущение – это и есть подсознательная ностальгия чувственной памяти. И в этом смысле эмигранты в Германии ничуть не отличаются от остальных выходцев из бывшего СССР. Поиск привычных ощущений в виде кильки в томатном соусе, сыра „Киевский“ и ресторана „Арбат“ столь же характерны для Берлина, как и для Иерусалима. Более того, в Израиле ностальгия чувственной памяти ослабевает гораздо быстрее, чем в Германии – Израиль несравненно быстрее становится своим, и своими же становятся его звуки и запахи.

Однако, среди эмигрантов в Германии есть и те, кто страдают от ностальгии в более привычном смысле этого слова (17% от общего числа эмигрантов, согласно опросам, приведенным выше). Впрочем, эта ностальгия легко соединяется с ностальгией чувственной и вкусовой. Вот, например, стихотворение Георгия Хлусевича, опубликованное в эмигрантской газете „Европацентр“ „вместо приветствия газете и тем, кому дорого слово на нашем родном языке“. Георгий Хлусевич пишет:

Словно горькая полынь,
Слов немецких крошево,
И застолье без друзей –
Ничего хорошего.

Но как сладостна на вкус
Речи русской крошечка:
„Отвори калитку, друг,
Отвари картошечку“.

Наконец, еще одной распространенной формой ностальгии является ностальгия социальная, дискомфорт, связанный с исчезновением тех социальных реалий и конвенций, среди которых прошла вся предыдущая жизнь и которые, в значительной степени, и определяли поступки и желания.

В этом смысле труднее всего приходится бывшим советским женщинам. Некогда недосыгаемый импорт лишается своего очарования, оказавшись запертым в платяном шкафу. Одеть его некуда. На работу ходить в дорогих вещах считается дурным вкусом; да и где она, эта работа. Соседи по дому проходят мимо со стеклянными взглядами; в автобусах и вообще никто ни на кого не смотрит; впрочем, и внимание хочется привлечь отнюдь не тех, кто ездит в автобусах; в своей машине и того хуже - ни души, хоть волком вой. Приставать на улицах Европы не принято, улюлюкать на рынке тоже, продавцы в магазинах заняты своими товарами и чеками. А за „девушка, какой девушка, совсем один“ можно потерять работу. И советские женщины перестают себя таковыми ощущать. Вдобавок, их мужья скорее всего не работают, почти как у Высоцкого, „придешь домой, там ты сидишь“. А вокруг столько всего, что хочется купить. Впрочем, если мужья работают в бизнесе, связанном с СНГ, то они хоть и возвращаются не с пустыми руками, то все равно тоскливо; черт их знает, с кем они там связались, пока отсутствовали. По словам психолога Нелли Фрейнкман, уже упоминавшейся выше, у „немецких“ жен российских „бизнесменов“ „появляется повышенная раздражительность, мнительность, немотивированная смена настроений, слезливость, подозрительность, агрессивность и другие невротические синдромы“.

Иными словами, несмотря на самый высокий уровень социальной защищенности, эмигранты в Германии имеют и подлинные причины для своих жалоб. В сравнении с общим немецким населением их число ничтожно; они заперты в четырех стенах своих квартир, непричастные и равнодушные к стране вокруг, вечные

безработные, вынужденные бездельники, игнорируемые местным населением, не знающие языка. Ради финансового благополучия они уехали из страны, в которой они выросли. Ради него же они изображают „еврейскую общину“, в стране где нет и не может быть никакой еврейской общины, поскольку сам переезд в нее требует вытравить из души все, что в ней есть еврейского. Но и плодами немецкого изобилия они не могут воспользоваться, поскольку Германия отвела им роль чужаков; роль тех, кто смотрит голодными глазами социальщиков на сверкающие немецкие витрины. Как всяким статистам им платят за их молчаливую роль; по их представлениям, платят мало; но все же платят.

Прим.

Социологические данные (включая результаты опросов), приведенные в этой статье, взяты из работ психолога Нелли Фрейнкман, работающей в Берлине с эмигрантами из бывшего СССР. Большая часть статей д-ра Фрейнкман, которыми я пользовался, была опубликована в берлинской газете „Европацентр“.

Вышла в свет новая книга
НИНЫ ВОРОНЕЛЬ

„МАЙН ЛИБЕР КАЦ“

(276 стр.)

„...Контрапункт иронии и лирики у Н. Воронель – не случайность, он кроется в природе ее поэтики...“

•
„МОСКВА-ИЕРУСАЛИМ“,
P.O.B. 44050, Tel-Aviv 61440

•
Цена – 36 изр. шек.
(25 DM для Европы, \$14 для США,
включая пересылку)

ИНТЕРПРЕТАЦИИ

В течение столетий черная тень Ассирии нависала над Израилем и Иудеей. На разные голоса проклинали ее пророки. Но Ассирия, и столица ее Ниневия, по-прежнему возвышались над своим окружением, оскорбляя чувство справедливости в раздавленных гнетом народах. Книга пророка Ионы дает неожиданно гуманистическую универсалистскую интерпретацию Б-жественному долготерпению.

По-видимому эта неожиданная нота вдохновила Владимира Саршвили на поэтический пересказ. Но и чаша долготерпения переполняется. Последним и самым яростным ненавистником Ассирии был пророк Наум. Его пророчество было столь страстным, его вера в торжество справедливости – столь безусловной, что Ниневия, наконец, рухнула. Он ли был причиной этого крушения? Скорее, его поэтический гений соединил в себе разрушительную народную жажду справедливости с пронизательным взглядом наблюдателя и мудреца. Наум Басовский не только перевел книгу пророка Наума на русский язык, но и рискнул придумать какие-то моменты биографии для своего тезки, о подробностях жизни которого ничего не известно.

Владимир Саршвили

ИОНА Поэма

I

Ущелье, где вслух размышляет река,
И белки, как свечи в ветвях кипариса,
Покинув, бегу я под небо Фарсиса,
Испуг мой безмерен и скорбь велика.

Я Господа слышал веление днесь:
„Иди в Ниневию, не медли, Иона,
Сей город забыл назиданья Закона,
Царят в нем бесчинства и злобная спесь“.
На пристани кормчему я заплатил,
И вспенили весла соленую воду,
И робкому, гулкому сердцу в угоду
Я взор свой от Господа отворотил.

II

Нубийский раб, подошвами босыми
И крепкими, как дерево, стуча,
Пронес вино, и взглядами косыми
Обласкан был купцами сгоряча.
Купцы барыш подсчитывали верный,
Играли в кости, жаждали девиц.
Душа моя! Ты пропиталась скверной.
Душа моя! Ты распростерлась ниц.
Я улыбался невпопад и криво,
Когда меня журили: пей до дна!
А на закате, растрепавши гривы,
Взбрыкнули волны разом – как одна.

III

Как зайчонок, затерявшись в табуне,
Наш летел корабль – то кланяясь луне,
То подпрыгивая, тонко вереща,
То заваливаясь, веслами треща.
А купцы бросали кладь свою за борт –
Облегчить скольжение? Смилостивить норд?
И молились – каждый Богу своему,
И цеплялись, завывая, за корму.
Но ни страха, ни сомненья нет во мне.
Я прощанье прошептал глухой луне,
Корабельным душным чревом поглощен,
Равнодушен, и угрюм, и не прощен.

IV

Дышалось мне с трудом в тумане полусна,
И плесени со стен мои вобрали пряди;
Не видеть берегов – ни холмика, ни пяди,
В крошечной темноте, в углу сырого дна
О смерти лишь прошу – единственной награде.

Но чей светильник здесь ползет, качаясь, вниз?
Хозяин корабля зовет: „Очнись, несчастный!
И Богу твоему с усердьем помолись,
Безумный! Что ты спишь? Очнись, скорей очнись,
Ищи спасенья – мы молились понапрасну.

О, за кого беда постигла ныне нас?
Не жребий ли бросать, дабы узнать тотчас?“

V

Иона!

Твой вытасцен жребий, так вот за кого нам погибнуть велят Небеса!

Иона!

Ответствуй нам, кто ты и где твой народ обитает, Иона?

Мы лона

Земли не коснемся, покуда свой грех не искупишь, и смерти коса

Для нас уж наточена, кто ты, ответствуй, Иона!

– Чту Господа Бога небес, сотворившего сушу, моря,

Закону праотцев покорен, но, так говоря,

Лукавлю, ведь я от Лица Его ныне скрываюсь...

Иону-Еврея в живых вы оставили зря,

Я должен быть жертвой, я пред неизбежным склоняюсь.

VI

– Земля! Земля! Попробуем причалить!

Уж близок берег! Мы не палачи;

Что до скончанья дни свои печалить

Невинной кровью! Море, замолчи!
Гребцы, мощней! Неужто мы не сдюжим,
О небо, ветер смиренность научи!

Но нет, вокруг да около все кружим,
Господней волей мы принуждены
Пожертвовать Ионой, грешным мужем.

Прости же нас, упав на грудь волны,
Твоею казнью Небесам мы служим.
Прощай! Утихла буря. Спасены!

VII

Пришло искупленье...
Волна пеленает меня,
Я снова младенец, и Бог у моей колыбели...
Прости меня, Боже...
Наказ я на смерть променял
И тает в ресницах зари силуэт корабельный...

Но иглы сверкнули,
Пещерой распахнута пасть,
Я схвачен теченьем, и в мягкую пропасть затянут,
Кому безвозвратней
Назначено Господом пасть?
Бесследней и звезды погасшие в мире не канут.

VIII

Из глубин преисподней я к тебе возопил,
Господи, слышишь!
Нет раба неугодной, отринут, лежу я без сил,
Господи, видишь!
И обвили главу мою в бездне морские цветы,
Господи, видишь!

И объяли меня Твои воды до самой души,
И до гор основанья нисшел я в утробной тиши,
Но увижу я святой Твой храм, изнемогши от мук,
Изведешь мою душу из ада на солнечный луг,
Обещанье исполню – рассею ненавистную мглу,
Возносить не устану Тебе, милосердный, хвалу.

IX

Я – выблевок вонючего кита.
Скрывается пловучая темница...
Кишечной жижей кожа облита,
В лучах закатных жжется и лоснится.
Не милость это – милостыня мне.
Благодарю, упавши на колени,
Я выплунут. В морской омоюсь пене.
День умирает в медленном огне.
Смирен, как голубь, и, подобно змию
Теперь я мудр, и вновь я слышу Твой
Наказ: „Восстань, Иона, в Ниневию
Иди и проповедуй. Бог с тобой“.

X

Город огромный, на три дня ходьбы,
В землю осядешь ты мертвою пылью.
Станут слова мои страшною былью.
Ты: не спасешься от черной судьбы.
В день сороко́вый стенанья и плач
Будут недолги. Покуда не поздно,
Люди, покайтесь, сердечно и слезно –
Праведник, грешник, невеста, палач!
От суеты отрешитесь, и плоть
Вретищем грубым покройте, и козни
И злодеянья забудьте, и, грозный,
Может быть, нас не накажет Господь!

XI

Что пророчество без муки? Расписных словес бряцанье.
Помню чрево исполина, корабельную корму.
Голос мой грехом изломан и настоян на страданье,
Ниневия, Ниневия, ты поверила ему!
Но зачем же Ты, Всевышний, заставлял меня насильно
Проповедовать? Ведь знал я – многомилостив и благ,
Не разрушишь Ниневию, не погубишь изобильный
Этот город, оттого я и бежал, испуган, наг...
А теперь пошли мне смерти. Ухожу, устрою кущу
На пригорке на бугристом, где восточная стена.
Я не вижу смысла в жизни, дай мне смерти, Всемогущий...
Ниневия! Ниневия! Ниневия спасена!

XII

Господь ответил мне тенистым деревцом.
Я наслаждался им, как властелин – дворцом,
К полудню же листва пожухла и иссохла.
И снова смерти я у Господа просил,
И зной палил главу, и я лежал без сил,
Вокруг меня лилась расплавленная охра...

И мне сказал Господь: „О древе плачешь ты,
Что не растил в трудах и не давал воды,
А мне ль не пожалеть детей Своих желанных?“
И понял я, что был досель слепым щенком,
А ныне лишь прозрел, и, осенен венком
Из высохшей листвы, спую Тебе осанну!

1996 г.

ПРОРОК
п о э м а

П р о л о г

Задерживаю воздух на устах,
чтоб слово не слетело ненароком.
Я знаю все, но страшно быть пророком.
Как совместить пророчество и страх?

Гляжу глазами, полными огня,
на то, что здесь, и то, что за порогом.
О Господи, нелепо быть пророком!
Зачем Ты это заложил в меня?

Я знаю все, и на века вперед,
о нас о всех и о судьбе народной:
она горька, горька бесповоротно, –
зачем же я обижу свой народ?

Родится слово в надлежащий срок,
посеет смуту – ну, а что за нею?
О Господи, что может быть смешнее,
чем веденье скрывающий пророк?!

Живите, ненавидя и любя,
в смешенье благородства и порока,
и не судите вашего пророка:
мне было страшно – но не за себя.

Г л а в а 1

О брат мой любимый, тебя прикатила повозка.
Лицо твое было из твердого желтого воска,
и твой подбородок вздымался пугающим клином,
и тело казалось таким неестественно длинным.

Ты стал в одночасье чужим, некрасивым и старым.
Глядел я в повозку, озноб колотил по суставам,
но холод рождался не болью, не горьким страданием –
я все уже видел в своем сновиденье недавнем.

Я спал, просыпался, и вновь засыпал, и упрямо
мне снилась повозка, мне снились повозка и яма.
Я вышел из дома и смерть увидал у порога
и понял: Господь уготовил мне долю пророка.

И стало мне страшно, и встал предо мною Исаяя –
пророк, чья душа проходила по стеклам босая –
по хищным осколкам жестокости, зла и коварства
событий и судеб такого недавнего царства.

И молвил Исаяя: – Блажен, кто доверился Богу,
но трижды подумай, вступая на эту дорогу:
за дни мои платой мне было деяние злое –
казнили меня, распилив деревянной пилою.

И канул Исаяя, остались повозка и тело...
Добра за добро ожидать – предпоследнее дело!
Но если добро возлелею пророческим даром,
поверится мне, что родился и прожил недаром.

О брат мой любимый, прости прегрешенье пророку!
Дубовой колодой мне надо бы лечь на дорогу,
тебя удержать за одежду, за конскую сбрую, –
я видел повозку, но видел и яму сырую!

А солнце слепило, был день нестерпимо горячим,
и сердце мое наполнялось истомой и плачем.
Я пал на колени, не зная, что явь, а что снится,
и слабые плечи подставил под Божью десницу.

Глава 2

Оказалась десница непомерно тяжелой,
ибо стал я глашатай слов правдивых и точных,
и шарахались люди, будто я прокаженный,
будто бед и страданий я первейший источник.

И шарахались люди, будто страшные змеи
из меня извергались вместо доброго слова,
а всего и вины-то – что юлить не умею,
что звучал неподкупно и смотрелся сурово.

О, какие проклятья слышал я за спиной!
Как упрямые взгляды кровожадно горели!
Это я *был повинен* в иссушающем зное,
это я *был повинен* в саранче и холере.

Сговорился с Ассуром наш недавний владыка,
подчинясь непотребной самовластной идее;
все равно – я *повинен* в том, что голод великий
от пришедшего войска охватил Иудею.

Им глаза открывая, чуть не лезу из кожи,
но жужжат в закоулках – мол, терпенье доколе?
Тоже, мол, *утешитель*, тот Нахум из Элькоша, –
он такого накличет, только дай ему волю!..

Я как будто не слышу, только ночью заплачу –
понадеюсь наивно, что Господь не увидит...
Сам себя вопрошаю: может, жить мне иначе?
Сам себе отвечаю: не пытайся, не выйдет.

Глава 3

Над Иудеей небо синее-синее-синее,
словно раскрасил ребенок, взявший краски впервые.
А страна, задыхаясь, хрипит под железной пятой Ассирии,
и стонет Иерусалим в железных когтях Ниневии.

В моей Иудее давно искусство войны освоено,
и все, что случилось, каждый мог предсказать без риска,
ибо у нас в лицо я знаю каждого воина,
но кто воплотит в число несметность войск ассирийских?

Как в Египте река, даря земле плодородие,
весной обретает лик огромного водоема,
так разлился Ассур, – но страшно то половодье:
копья его и мечи выросли у каждого дома!

Пришельцы топчут наш быт, наш дух и наши традиции,
они берут наших жен и скарб, что годами нажит.
Они – хозяева здесь: их идолы каменнолицые,
задрав кольчужные бороды, стоят в поселениях наших.

Луна сменяет луну, и быть пророком не надобно,
чтобы в грядущих годах беды видеть все те же.
Но как я народу скажу, что эта неволя – надолго?
И что я народу скажу, чтобы его утешить?

ПРОРОЧЕСТВО О НИНЕВИИ.
КНИГА ВИДЕНИЯ НАХУМА ИЗ ЭЛЬКОША.
1.

*Господь есть Бог ревнитель и мститель;
мститель Господь и в гневе страшен.
Молебнами грешный путь не мостите –
Бог не поверит молитвам вашим.*

*Облака – лишь пыль под ногами Бога,
буря и вихрь – Его одеянье.
Того, кто Ему преградит дорогу,
Он не оставит без воздаянья.*

*Ему перечить – себе на горе:
что ваше слово с Его словами?
От гнева Его высыхает море,
в Башане гибнут сады и в Ливане,*

*от страха холмы стекают к подножью,
даже у гор трясутся колени,
и падает ниц перед ликом Божиим
земля и все ее население.*

*Кто стерпит пламя гнева Господня?
Он реки сушит и скалы плавит.
Но в день беды Он утешит скорбных,
уповающих на Него не оставит.*

*Лишь ты, Ниневия, Ассура столица,
не жди утешенья и снисхожденья –
с тобою вот что должно случиться:
ты захлебнешься от наводненья.*

*Врагов Его в Ниневии много –
во мгле потопа их ждет могила.
Вотще умышляете вы против Бога!
Против Господней что ваша сила?*

*С грехом сплелись вы, словно терновник,
греху отдались, как зелью хмельному.
Но пламя гнева пожрет греховных,
словно костер – сухую солому.*

*Господь говорит: о Иудея!
Из тучного поля стерней ты стала.
Но силу я отниму у злодея,
которая в прахе тебя держала.*

*Не вечно будут ярмом железным
тебя гнести ассирийские рати:
они в огне и крови исчезнут,
ничего не оставив, кроме проклятий.*

*Исчезнет их семя в пустынях мира –
в далеких странах и в сопредельных.
Ни единого каменного кумира
не останется на площадях и в молельнях.*

*О Иудея! Праздники празднуй,
вкушая мир, исполняй обеты;
отныне страхи твои напрасны:
сгинет враг и кончатся беды.*

Глава 4

Богатыми и бедными дворами
пошла молва о том, что мы – живые.
Ежесубботне появляясь в Храме,
пророчу я паденье Ниневии.

Ежесубботне слушателей сотни
запоминают эти песнопенья,
и тысячи потом ежесубботне
от песни набираются терпенья.

И год, и два, а может, пять и десять
дышать им будет хоть слегка вольготней:
отчаянье сумел я перевесить
для них своею песнею субботней.

А Ниневия – что же Ниневия?
Моих видений ей ли опасаться?
Ей гибель прорицают не впервые,
она ж гремит, утапывая плацы –

войска готова для походов новых,
она кует мечи и вяжет сети,
и грохот колесниц ее суровых
слышней, чем все пророчества на свете.

Мое моление – может, и шальное –
ей безопасно, словно щебет птицы, –
и все-таки она следит за мною,
и все-таки она меня боится.

А что бояться – не ее ли лапа
так тяжела, что не вздохнуть от боли?
А времена Давида с Голиафом
по всем приметам не наступят боле.

ПРОРОЧЕСТВО О НИНЕВИИ.

КНИГА ВИДЕНИЯ НАХУМА ИЗ ЭЛЬКОША.

2.

*Стерегу дороги, Ассур, охраняй твердыни,
ибо твой разрушитель на тебя подымается ныне.
Виноградник Израиля истоптан, опустошен –
по велению Божьему вновь восстановится он.*

*Красны госпехи мстителей, их одежды багряны.
Героев смерть не пугает и не пугают раны.
В мечях, отточенных остро, блещет огонь небес,
сверкают их колесницы и копыа растут, как лес.*

*Зовет храбрецов на помощь царствующий в Ниневии;
но они на бегу спотыкаются, словно полуживые.
Слышат конницы топот, слышат оружия звон,
когда-то могучий город со всех сторон осажден.*

*Бронзой бревна окованы – нет спасенья воротам;
разрушен дворец, посылавший горе соседним народам;
обнажена Ниневия, в плен предстоит ей путь,
и стонут нежные жены, себя ударяя в грудь.*

*Всегда была Ниневия водоемом, полным водою,
а теперь она остается один на один с бедою.
Убегает ее защита, бросив и меч, и щит;
„Стойте, – кричит она, – стойте!“ – но никто назад не глядит.*

*Ночь сменяется ночью, и не приходит утро.
Враги расхищают золото и драгоценную утварь.
Грабеж и убийства длятся от темна до темна,
обескровлена Ниневия, разорена она.*

*Горе жизнь сохранившим! Трясутся у них колени,
содрогание в чреслах, себя уже видят в тлене.
Где логовище, откуда бросался могучий лев?
Со своею львицей и львенком грозит, едва уцелев.*

*Вчера еще драл добычу лев ассирийской столицы
для насыщенья львят, для ублаженья львицы;
вчера наполнял пещеры отобранным у других –
сегодня смотрит понуро: опустошают их!*

*И скажет Господь Ассуру: – Погибель тебе не снится:
это Я истребил твое войско, Я сжег твои колесницы.
В мире больше не слышен голос твоих послов,
и о тебе не останется нескольких добрых слов.*

Г л а в а 5

Вот и стража явилась в мой дом,
старший смотрит презрительно-хмуро,
говорит: – Собирайся, пойдем, –
вызывает наместник Ассура.
И меня повели во дворец –
одного, безоружного! – трое...
Только Храм возвышался горою,
и подумалось: это – конец.

Но наместник был ласков со мной –
усадил, угостил, обнадежил.
Он сказал: – Ты поэт неземной,
наш прекрасный Нахум из Элькоша.
Не считай эти речи за лесть –
я ценю мудреца и поэта;
но прислушайся к слову совета:
ты не должен в политику лезть.

Ибо кроме духовных утех
нужен общий порядок на свете
и забота нужна обо всех –
и о пахаре, и о поэте.

Люди просят бича, как и скот, –
ты со мной не сойдешься на этом:
не дано пониманье поэтам
государственных наших забот.

И не надо: творите в тиши,
говорите несуетно с Богом,
но во имя спасенья души
не касайтесь того, что под боком.
Я надеюсь, ты понял меня,
наш прекрасный Нахум из Элькоша,
и пускай тебе Бог твой поможет
быть творцом до последнего дня.

На лице его дрогнул оскал,
как у льва, не сдержавшего рыка.
Самоцветом меня обласкал,
одарил ассирийский владыка.
И потом проводили домой –
одного, безоружного! – трое,
и стоял я над ямой сырою,
корчась весь между светом и тьмой...

ПРОРОЧЕСТВО О НИНЕВИИ.
КНИГА ВИДЕНИЯ НАХУМА ИЗ ЭЛЬКОША.
3.

*О горе городу кровей,
убийств, разбоя и обмана,
где грабят, грабят непрерывно
его вельможных сыновей.
Вот слышен резкий звук бича,
вот грозный грохот колесницы,
сверкает меч и кровь струится –
она красна и горяча.*

*Последний бастион поник,
ревут рокочущие трубы,
и всюду трупы, трупы, трупы –
все спотыкаются о них.*

Над Ниневией воронье –
Господь назначил воздаянье
за все ее блудодеянья,
за злодеянья все ее.

Сказал Господь: – Не пощажу
надменной гордости столицы –
подняв на голову срамницы
края одежды,

покажу
ее нагою – на позор,
чтоб срам был виден и во мраке,
чтобы отшатывался всякий,
кто на нее подымет взор.

Был неприступен Но-Аммон
на Ниле, защищенный морем, –
теперь, в могуществе оспорен,
и он разграблен и пленен.

На улицах и площадях
учинены ему обиды:
его младенцы перебиты,
его вельможи все в цепях.

А ты, столица и оплот,
ты разве лучше Но-Аммона?
К тебе, хоть задохнись от стога,
никто на помощь не придет!
Доступна ты своим врагам
и саду спелому подобна:
чуть дерева коснешься – смоквы
тотчас же падают к ногам.

И воины твои теперь
подобны женщинам продажным:
враг подошел – ворота настежь
и в доме каждом настежь дверь.
Пусть загородишь ты ручей,
и запасешь в достатке глину,
и долго печи не остынут
для обжиганья кирпичей,

пусть нынче башня и стена
прочнее крепости вчерашней, –
но упадут стена и башня,
и всю тебя пожрет война.
И всюду будет след меча,
его кровавый след повсюду,
хотя бы ты каким-то чудом
размножилась, как саранча.

Та саранча – твои купцы,
их много, словно звезд на небе;
но лишь нуждаться станут в хлебе,
то улетят во все концы.
Та саранча – твои князья,
военачальники в походах;
сидят на изгородях в холод,
но обнаружить их нельзя,

едва над городом взойдет
светило дня на небосклоне, –
они умчатся, и погоня
нигде следа их не найдет.
Все пастыри твои уснут,
владыка, некогда всевластный,
и будешь ты взывать напрасно,
когда отарою без пут

народ рассеется в горах,
и некому собрать отару:
уходят молодой и старый,
тем и другим владеет страх.
Нет исцеленья язве той,
болезненной, кровавой ране –
никто к ней подносить не станет
ни мазь, ни травяной настой.

И все, услышавшие весть,
что ты погибла, Ниневия,
свои молитвы вековые
спешат к Всевышнему вознести,

*и распахнуть свое жилье,
и радость влить в чужую радость, –
о, на кого не простиралось
деянье злобное твое?!*

Глава 6

Кто готов поручиться, что знает слова несомненные?
Может быть, лишь поэт, сочетавший слова несравненные,
где созвучие цвета, соцветие звука и запаха
даст и чувства осмыслить,
и смыслы почувствовать заново.

Кто готов поручиться, что знает слова несомненные?
Лишь священнослужитель, нашедший слова незабвенные, –
жить по правде и вере пытаюсь хотя бы попробовать,
их годами хранят
лишь однажды слыхавшие проповедь.

Кто готов поручиться, что знает слова несомненные?
Это сможет пророк, произнесший слова несогбенные, –
подымают они и ведут, словно сила несметная,
от свечи до костра
и потом от костра до бессмертия.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА (вместо эпилога)

Книга пророка Наума написана предположительно между 616 и 612 гг. до н.э. А в августе 612 года племена халдеев ворвались в Ниневию и разрушили ее дотла. Ассирийское царство перестало существовать.

1989-1999 гг.

ОТКЛИКИ

Анатолий Добрович

«ПРОНИКНУТЬ В ТАЙНУ ПОВЕСТВОВАНИЯ» (о стихах Геннадия Беззубова)

На стихотворный текст надо хорошенько подуть: что останется? Первыми сдуваются пошлости: затрепанные слова и набившие оскомину высокопарные обороты, якобы обязательные для истинной поэзии. Вслед за ними – манерности: попытки поинтересничать, поиграть на каких-нибудь ассонансах-диссонансах, потемнить по части смысла. То, что остается, – если что-нибудь остается, – не обязательно оказывается стихотворением, даже если мы отдаем должное версификаторскому мастерству автора. Это может быть просто суждение (любой глубины, вплоть до весьма мудрого), наблюдение (вплоть до исключительно меткого), выговаривание чувств (вплоть до самых искренних) или разборка с воображаемым собеседником (вплоть до Всевышнего). Ритмизировано, в рифму, – еще не стихи. В лучшем случае: глубоко, интересно. Красиво! Но не стихи.

Эта истина, со временем кажущаяся все более прописной, приходит в голову при чтении стихов Геннадия Беззубова. Тут и дуть на текст не надо, разом открывается: стихи. И в бессилии объяснить, хотя бы себе, что есть стихи, хватаешься сперва за негативное определение (что *не есть*)... Однако что это еще, как не стихи, когда читаешь:

*„Сейчас по отрогам, по малым холмам, / По рваному камню
окраин / Закат бедуинский, печати сломав, / Покатится, псами
облаян.“*

Или: *„Сольются тени разномастной флоры / В потоке нарастающей
луны / В ту целокупность странную, к которой / Мы причтены“.*

Или: *„Эта листва поутру / Неразлично мелка. / След на коре*

*от мелка – / Я его лучше сотру, / Чтоб не прокрался вослед / Мед-
ленный утренний свет, / Мутью ложины залив / Меж узловатых
олив.“*

Тексты в таком ключе – почти на каждой из 60-ти страниц поэтического сборника Г. Беззубова „Случайный свидетель“ (Иерусалим, 1997). Решусь и на позитивное определение (при ближайшем рассмотрении, впрочем, банальное): стихи – это речь, не вмещающаяся в произнесенные слова, и при этом все же слышная, явственно присутствующая за пределами слов. Сказав, сказать нечто помимо сказанного: сказать больше, чем сказано. Имитация здесь невозможна. Это сравнимо с использованием слова как кода: посвященному известно, что „тетя Фаня“ означает, например, „ожидаемые корабли прибыли в полном составе“. Но в отличие от шпионских шуточек, наш „сговор“ с поэтом объясняется не предварительным условием „что означает что“, а непредусловленным откликом читательского духа (и уха) на энергетически-смысловый посыл, собственно, побудивший поэта заговорить. Слова стихотворения „точные“ в том смысле, что они канализируют этот посыл или, по меньшей мере, не мешают ему осуществиться в исходном (не искаженном) виде. Поэт отказался бы „объяснить другими словами, что он имел в виду“; часто создается впечатление, что он и сам себя не вполне понимает. Впечатление, скорее всего, верное: понимал бы – обошелся бы без стихотворения (если порядочный человек). У действительности – внешней и внутренней – больше смыслов, чем у нас на языке. Разве не так? Чудо в том, что эти дополнительные смыслы или полу-смыслы, звуча в устах слабоумного или сумасшедшего, вызывают у нас испуг, отчуждение, а в устах поэта – понимание, сопереживание, прилив мыслей и чувств.

Вот почему пишущих стихи безумно много, а поэтов – мало.

Ладно, что камень – „рваный“, а закат – „бединский“; какие-то такие „печати“ он „сломал“? Имеется ли в виду солнце красного накала с его резкими лучами среди густых темных туч? Идет ли речь о ломке печатей как о дерзком, царственном поступке? Или как о поступке вероломном?.. Или как о том и другом вместе?.. Между тем, читающему ясно, что это сказано не случайно. Не „поэтичности“ ради. За образом открывается мощное, сложное и адекватно-тревожное ощущение мира. Каково оно – становится постепенно понятным из книги как целого... Оно, это ощущение,

и смутно знакомо нам по собственному внутреннему опыту, и ново для нас по внятности, по выпуклости в передаче поэта. См. книгу!

* * *

Еще одна прописная истина заключается в том, что стихи говорят за себя сами и в сторонних „разъяснениях“ не нуждаются. Понимающий – поймет. В данном случае я (в какой-то мере) – понимающий. Мог бы и промолчать. Лучший ответ на стихи – конечно, ответные стихи. Но есть чувство справедливости. Должно быть „баш на баш“, а попробуйте-ка сработать стихи на уровне Геннадия Беззубова.

Но и молчать нелегко, когда задевает! Кроме того, еще не выветрилась из общественного сознания идея о том, что художник нуждается в отклике. И, по усвоенной склонности „быть благодарным“, – спешишь этот отклик выразить. Приласкать, так сказать, артиста. Хотя, вообще-то, ясно, что не ласки наши для него отклик. Вот если бы ключ в пустыне забил... Или враги наши присмирели... Или принялись бы люди вести себя, как им велено свыше... Нам, пожалуй, только мерещится, будто стихи пишутся для нас. Это репортажи и фельетоны – для нас. Стихи адресуются выше, они по природе своей – молитва.

Есть молитва-хвала и молитва-просьба, молитва-раскаянье и молитва о помиловании. Все это вполне может звучать и в стихах (хотя в стихах Г. Беззубова этого как раз нет!), но существует еще молитва особого рода, без которой, по-видимому, никакие стихи не появляются. Это, если не бояться высоких слов, – молитва о даровании истины. Хоть искры истины в плотной темноте заблуждений, глупостей, пошлостей. Я имею в виду истину мировоззренческую: ощущение, что видишь мир и себя „как есть“, неважно доставляет ли радость это „как есть“; более того, с полным пониманием, что радости это не сулит, – и с готовностью выдержать предназначенную боль.

...Жанр критической заметки требует цитирования, калечащего стихи. Простите меня, Геннадий Беззубов: мне хочется привлечь к Вам читателя, еще не знакомого с Вашей книгой. Вот некоторые иллюстрации к мироощущению поэта.

„...Всплывай из утренних минут, / Потягивайся, телом не владея.

*/ Как эту местность, помнится, зовут – / Меланхолея? Иудея? (...)
А ливень, хлынувший вчера, / Он не наполнил даже кружки. /
Звезд многовато. Брат вернулся от костра, / Чтоб вынуть нож из-
под подушки. “*

Звезд „многовато“... Можно ли точнее передать жуть, заключенную в контексте?

*„... Там тянуть, догнивая / Или здесь умереть – / Это даже не
выбор – / Предписание, приказ. / Но Всевышний не выдал / Разъяс-
нений для нас, / Чтобы точно не знали, / Помрачившись в уме, /
Что должно перед нами / Проступить в полутьме – / То ли те полу-
станки, / Прежней жизни маршрут, / То ли Неgev, где танки /
Вдоль дороги идут. “*

*„... И заходится сердце в надежде упасть / Где-то здесь, где –
не знаю. “* („Здесь“ – это „на коротком и страшном просторе“, из того же стихотворения).

*„... И глазеешь, разинув рот, / Как вокруг проступает мир / И
колеблется, и течет, / И ветшает до дыр. “*

*„... И не глядеть на эту / Разодранную тьму, / Где требуют к
ответу / Нас всех по одному, / И никому при этом / На грамм по-
блажки нет. / Но разве есть на свете / Другой какой-то свет? “*

Довольно обрубков! – подсказывают вкус и чувство такта. И все же не удержусь от еще одного:

*„... И ветер накидывается, листая / Черепичные кровли, полон
желанья / Проникнуть в тайну повествованья, / Хоть и знает, что
там ничего не скрыто, / Кроме заурядных деталей быта. “*

Для меня несомненно: это Беззубов говорит о себе – „в роли“ ветра. И чувствует, знает: нечто огромное и невыразимое там действительно скрыто за обиходными, на первый взгляд, деталями. И умеет передать это скрытое. Я позволю себе добавить: „средствами хамсина“. Сухим пыльным жаром веет невыразимое из его стихов. Такова истина здешних мест, истина Того, Кто простерт над здешними местами. Как аэростат на приколе.

Нет в книге лишних слов, нет и намек на поэтическое всхлипывание; правила игры, называемой „жизнь“, усвоены накрепко. Боец – боксер, например, – получив удар, не всхлипывает, самое большее – утирает перчаткой кровь. „Все прочее – литература“, как сказано другим поэтом.

Кстати, литературных аналогий поэзии Г. Беззубова, по-моему, нет. На русском языке, по крайней мере. Отдаленно – жаркой

сухостью – ассоциируется с В. Ходасевичем, но – иное! Скорее всего, исследователь поэтики (а ему есть что делать с такими стихами) уловит внутреннюю соотнесенность этой речи с речью ТАНАХа. И в то же время перед нами *русские* стихи. Которые, с другой стороны, не могли бы родиться в России. А сохранят ли они себя, будучи переведенными на иврит даже первоклассным израильским поэтом? Не знаю. Не уверен. У меня, помимо воли, возникает трудный (вероятно, дурацкий) вопрос „тогда зачем...“

Зачем-то! Нам этого пока не постичь.

И вот еще цитата – напоследок:

„...Пузырями улица закипела. / Дождь пошел, и это меняет дело / Так круто, такую кладет печать, / Что уж лучше смолчать.“

Вот и в этом случае „лучше смолчать“ – и подождать, что еще скажет поэт.

Михаил Копелиович

ПОЭМА В ПРОЗЕ ДИНЫ РУБИНОЙ

До сих пор Дина Рубина писала „просто“ прозу. В России – психологические рассказы и повести, условно говоря, в чеховско-трифоновском духе.* После репатриации – в основном романы-фельетоны с примесью мистерии: „Вот идет Машиах!..“, „Последний кабан из лесов Понтеведра“. Ныне она опубликовала (в „Иерусалимском журнале“, № 2, 1999) „маленькую повесть“ „Высокая вода венецианцев“. Появление этой вещи знаменует, как мне кажется, крутой – и отрадней – поворот писательницы к новым содержательным и жанрово-композиционным принципам повествования.

Сперва – от чего ей пришлось отказаться? От опасно разлившейся в ее прежних публикациях стихии юмора, в которой Д. Ру-

* Подробней об этом в моей статье „Уроки человечности“ („22“, № 105).

бина чувствует себя, как рыба в воде. а потому несколько „заключилась“ на юмористических аспектах нашего бытия. От „склеивания“ человеческих фигур из отдельных лоскутков (так сказать, по методу профессора Франкенштейна); фигуры, допустим, оживали, но все же налет искусственности на них сохранялся. От чрезмерного сближения мест действия и персонажей с реальными местностями, учреждениями и людьми.

Однако приобретения оказались куда весомей убыли. В е р н у л а с ь диалектика души, так пленявшая когда-то в ее „московских“ новеллах („Двойная фамилия“, „Уроки музыки“, „Любка“), в повести „На Верхней Масловке“. Когда герой прозы не одномерен (ангел или злодей) и, при всех своих противоречиях, всегда равен самому себе, с ним не трудно отождествиться. Отсюда берет начало сопереживание герою, а это – залог увлекательности чтения, иногда (грандиозная победа автора!) и потрясения от прочитанного.

Еще вернулось то качество прозы, о котором немало говорилось как о необходимой толике любви автора к своим персонажам, независимо от преобладания в них доброго или злого начала. Если взять, к примеру, ту же „Любку“, то, хотя любовь к героине не декларирована там ни единым словечком, она очень чувствуется, и это вдыхает теплую лирическую струю в беспощадно-правдивый рассказ из эпохи „дела врачей“. То же наблюдаем в „Высокой воде венецианцев“.

Пересказывать сюжет этой повести не стану, чтобы не портить удовольствие читателям. Скажу лишь, что в основе коллизии лежит ситуация, неоднократно привлекавшая писателей, а также кинематографистов: переживания и поступки человека (чаще всего именно женщины), узнавшего, что он неизлечимо болен. (Достаточно назвать „Раковый корпус“ А. Солженицына: история доктора Донцовой – и фильм „Клео с 5 до 7“ французского режиссера Аньес Варда.) Добавлю, что у Д. Рубиной переживания героини осложнены горькой памятью о рано и нелепо погибшем старшем брате, с которым ее связывали запутанные отношения обожания пополам со страхом. Все.

Два слова о жанровой природе повести. Я уже назвал ее поэмой в прозе. Что я имею в виду? Поэма в прозе – некий жанровый кентавр (ничего общего, кстати, не имеющий со с т и х о т в о р е н и е м в прозе), которому присущи следующие особенности:

сжатость и уплотненность текста, незнакомые последовательно повествовательной прозе;

лирическая окрыленность, особым образом окрашивающая остальные элементы повествования (описания „от автора“, диалог, сюжетные пересечения персонажей);

открытость, разомкнутость финала, внезапный „обрыв“ сюжетных линий, застигающий читателя врасплох;

моноцентризм, т.е. наличие большой сольной „партии“ (иногда повествование ведется от первого лица, но это не обязательно);

резкая выделенность солиста из окружения, начиная от рода занятий (или их полного отсутствия), кончая склонностью к резонерству (не обязательно вслух);

повышенный градус переживаний героя (героини), чем бы они ни вызывались; склонность к ностальгической тоске по собственному прошлому.

Теперь назову предшественников Д. Рубиной в жанре русской поэмы в прозе: Николай Гоголь („Мертвые души“), Венедикт Ерофеев („Москва-Петушки“), Михаил Кураев („Ночной дозор“). Для меня несомненно, что место „Высокой воды венецианцев“ – в этом классическом ряду.

Я не привел – и не приведу – ни одной цитаты из рецензируемой повести. Когда имеешь дело с поэмой в прозе, цитировать особенно трудно, потому что однородность (не монотонность!) стиля в подобного рода сочинениях столь велика, что, вырвав фразу или абзац из контекста, рискуешь лишиться их свойства суггестивности (т.е. силы внушения), ощущаемой только в контексте. Но, чтобы дать хоть какое-то представление о хрупких „материях“ этого замечательного произведения, обращусь за помощью к поэту.

Из стихотворения Сары Погреб, соседки Д. Рубиной по журнальной книжке:

Только капли остались. Совсем запрокинута чаша,

Голубиная, полная блеска.

Гул копыт по траве. И запахло водой.

И не так уже страшно.

Причина того, что жизни „только капли остались“, не важны. Поэт грешит на свой возраст. Прозаик – на болезнь своей, еще не старой (39 лет), героини.

Помимо всего этого, читатель найдет в „Высокой воде венецианцев“ чарующие лирические, через собственную душу автора пропущенные, описания Венеции, а также такие совершенные воплощения в слове впечатлений от „Тайной вечера“ Тинторетто и „Прелюдии“ Баха, что ими (впечатлениями) не стыдно было бы поделиться с самими Тинторетто и Бахом.

Составляется монография-справочник: „Русскоязычные писатели за границей“

Ответьте, пожалуйста, на вопросы анкеты.

1. *Фамилия. Девичья фамилия или предыдущие фамилии. Имя. Отчество.*
2. *День, месяц и год рождения.*
3. *Место рождения (с возможной полнотой).*
4. *Использовавшиеся псевдонимы.*
5. *Российская (советская) часть биографии: где Вы жили, какое и когда закончили (не закончили) учебное заведение; в каком качестве работали: основные публикации в российской (советской) печати; распространялись ли Ваши произведения в самиздате? Какие? Входили ли Вы в литературные объединения, в редакции журналов и газет? Когда Вы покинули Россию (СССР), каким образом – добровольная эмиграция, высылка, побег, плен, невозвращение?*
6. *Зарубежная часть биографии: где Вы жили и в какие годы; если возможно, укажите места Вашей работы; входили ли Вы в редакции каких-либо журналов, альманахов и газет на русском языке? были ли Вы издателем – если да, укажите, пожалуйста, подробно; получали ли Вы какие-либо литературные премии? Назовите, пожалуйста, наиболее важные издания Ваших трудов на иностранных языках.*
7. *Библиография (только ЗАРУБЕЖНАЯ) трудов на русском языке:
книги;
публикации в сборниках, альманахах, журналах;
перечислите, пожалуйста, те зарубежные газеты, где появлялись Ваши публикации (попытайтесь указать, если не трудно, годы и даже месяцы);
перечислите, пожалуйста, печатные отзывы на Ваши труды.*
8. *Библиография российская. Если Ваши труды появлялись в российской печати в заграничный период Вашей жизни, назовите, пожалуйста, наиболее важные.*
9. *Занимались ли Вы когда-либо литературными переводами? Переводили ли Ваши тексты на другие языки?*

Все статьи Словаря будут иллюстрированными; могу ли я просить Вас прислать Ваши фотографии самых разных лет (если Вам жаль с ними расстаться, я сделаю с них копии и пришлю Вам оригиналы обратно).

Я буду очень признателен Вам за сообщение дополнительных сведений, которые смогли бы сделать мой Словарь полезным читателю.

Ваш Ив. Толстой

Ivan Tolstoj, RFE/RL, Russian Service, Vinohradska 1, Praha 11000, Czech Republic
Tel.: (4202) 2112 3120 Fax: (4202) 2112 3140 tolstoj@rferl.org

Главный редактор – Александр ВОРОНЕЛЬ

Редакционная коллегия:

Н. ВОРОНЕЛЬ, Н. ГУТИНА, А. ДОБРОВИЧ, А. ДОНДЕ,
Н. ДРАЧИНСКАЯ, Э. КУЗНЕЦОВ, Д. СОБОЛЕВ,
М. ХЕЙФЕЦ, Д. ЦИФРИНОВИЧ, И. ЧАПЛИНА,
Н. БАСОВСКИЙ, В. КРАСНОГОРОВ, Э. БОРМАШЕНКО

Заведующая редакцией – Мирьям БАР-ОР
Компьютерная обработка – Нина РАДАЙ
Печать – издательство «МЕРКУР»

Всю корреспонденцию направлять по адресу:
«22», Р О В. 44050, Tel-Aviv 61440.
Телефон редакции – 03-7394525

Электронный адрес: <http://folding.tierranet.com/22>

Все права на материалы журнала (за исключением особо оговоренных случаев) принадлежат издательству «Москва – Иерусалим» и их использование без ведома и согласия издательства не разрешается.

Стоимость годовой подписки в Израиле – 120 шек., для организаций – 130 шек., за рубежом – 80 долларов (авиапочтой в Европу – 90, в США – 95 долларов), для организаций – 100 долларов (включая пересылку).

Стоимость подписки для новых репатриантов (до 1 года в стране – 90 шекелей (с рассрочкой в два платежа).

*Отвергнутые рукописи не возвращаются
и в переписку по их поводу редакции не вступает.*

ПОДПИСНОЙ ТАЛОН

Прошу подписать меня на журнал "22", начиная с №
Прилагаю чек (чеки) № на сумму

Журнал прошу выслать по адресу

(пишите разборчиво, желательно указать № телефона)

Жертвую в фонд журнала

(фамилия)

Наш адрес: "22", Тель-Авив 61440, п/я 44050

